

ЕВРЕЙСКИЙ БОКС

Теннис — это еврейский бокс.

Народная поговорка

Меня сильно били в школе. Даже не так сильно, как часто. И я не мог понять души моих обидчиков и причин, заставлявших их это делать. Иногда они могли в самый неподходящий (для меня) момент стукнуть меня так, что у меня отлетала голова. Я много не понимал в поведении моих одноклассников, может быть, потому, что вырос в деревне и у меня о многом понятия были «деревенские». Когда мне исполнилось 14 лет, мы переехали в город, и я был отдан в одну из самых хулиганских школ, где, наряду с другими национальностями, было немало преподавателей-евреев, что поначалунувило мне какую-то надежду. Напрасную, в чем я убедился очень скоро.

Не то чтобы в деревне не дрались между собой, но никогда не били того, кто не мог ответить. Всегда драки шли на равных. А тут... Били меня всегда одни и те же три ученика. Вначале я думал, что за то, что я новенький, но проходило время, а меня меньше не били. И я понял, что меня бьют за то, что я еврей (больше мальчиков-евреев в классе не было), что маленького роста и младше всех в классе. Я был на год их младше, потому что начал учиться в 6 лет. Такое было возможно только в деревне, и теперь я за это расплачивался. Еще, может быть, меня били за то, что я приносил в школу польский журнал «Экран» и читал его девочкам (так и начал понимать этот язык). Им нравилось смотреть картинки, фотографии красивых актеров и актрис и ахать, когда я, читая какую-нибудь историю и не всё понимая, выдумывал трогательный конец. Когда я читал журнал, эти жлобы, которые меня били, старались незаметно оказаться вблизи и пытались из-за спины подсмотреть. Я тут же прекращал читать, и тогда девушки громкими недовольными криками отгоняли нахалов. А я уже знал, что после урока меня обязательно поколотят. Знал, но никогда не мог отказать себе в удовольствии повторить эту сцену унижения. Всё, что я мог себе позволить, не более.

Первый и самый главный, кто меня бил, был Коля Степкин. Самый сильный в классе, на год всех старше, он занимался классической борьбой и радостно рассказывал, что борцам-классикам разрешается пердеть даже на соревнованиях, потому что без этого нельзя. Я как-то вслух произнес фразу «добрейшие пердуны», за что Степкин показал на мне прием, от которого я сильно ударился спиной об пол. Мог и сломать себе поясницу, но не сломал, повезло...

Родители этого Степкина, мать и отец, были строителями, и оба были бригадирами бригад коммунистического труда. Он штукатуров, она маляров. Об этом как-то упомянул мой отец после того, как один-единственный раз побывал на родительском собрании. Для сына таких родителей и школа была «коммунистической бригадой».

Второй был тоже Коля, но Забудин. Этот был просто жлоб, учился он хуже всех и бил он меня просто, чтобы угодить Степкину. Самое смешное, что иногда он обнимал меня дружески за плечи и просил дать ему «шмат» от моего «бутера», забывая, что только вчера больно ударил меня в грудь. Про себя я называл его «идиотом» и даже стал меньше на него обижаться.

Третий, кто бил меня меньше других, но именно в самый, как я уже говорил, неподходящий и неожиданный момент, был Юра Сербин. Он занимался гимнастикой, у него была красивая фигура и красивые светлые волосы. Сербин был похож на актера Олега Стриженова в фильме «41-й» и нравился всем девочкам класса. Мне он тоже нравился. Я сейчас не помню, какая у него была причина меня бить, но наверняка была, не фашист же он был из фильмов про немцев...

Нельзя сказать, что в классе я был одинок, нет. Был у меня один «кирюха» — друг один, с которым сошлись мы на почве национальности. Нет, Виля Момот не был евреем. Я уже говорил, что таковым я был в единственном числе. Виля был украинцем, точнее «западынцем», как он называл выходцев из Западной Украины. Их, считал он, как и нас, жидов (он так и говорил), одинаково ненавидят «эти русаки», и поэтому нам нужно держаться вместе. Виля был довольно крепким парнем, но никогда за меня не заступался. Я удивлялся — почему? — но не спрашивал его об этом, а он не объяснял. Только когда я, наконец, попал к нему домой, его мама, сразу определив, что я «жид», сказала Вилю, чтобы он не скрывал от меня, что они — баптисты. После этого Виля объяснил мне, что ему вера запрещает драться, курить, пить вино и сквернословить. Я тут же обратил внимание, что Виля действительно никогда не ругался матом, в отличие от всех остальных учеников, в том числе и меня. Хоть он и считался моим «другарем», но где-то в душе я чувствовал, что Виля евреев недолюбливает. Это я заключил после того, как он сказал про Адель Шилькрут, когда она не дала ему что-то списать, что она «вонючая жидовка». Я очень удивился тогда: он что, не понимает, что я тоже еврей? Но Виля не понимал. Видимо, он делил евреев на «хороших» и «вонючих». Должен сказать, что я потом не раз сталкивался с подобным отношением к евреям.

Но именно Вилю я должен был быть безмерно благодарен, потому что это он помог мне найти способ прекратить мои избиения. Это случилось тогда, когда я потерял сознание после очередного столкновения со Степкиным. На сей раз ему, видимо, надоело бить меня прежними способами, и он решил испытать на мне что-то новое. Начал он с того, что, как обычно, захватил мою шею в

замок и начал крутить меня вокруг своего тела, одновременно сжимая шею своими сильными руками. Я пытался вырваться, что мне иногда удавалось, когда Степкин решал, что помучил меня достаточно. Но на сей раз ему мешал шарф, который был обернут вокруг моей шеи. Шарф, видимо, не давал ему необходимого борцовского ощущения чистого сдавливания шеи, и Степкин очень быстро, — я даже еще не успел как надо посопротивляться, — ослабил свой захват. Но рано я обрадовался, Степкин не отпустил меня. Он придумал другой способ и тут же начал его осуществлять. Быстро схватил меня двумя руками за оба конца шарфа и глядя прямо мне в глаза начал стягивать шарф вокруг моей шеи. Ему тоже было нелегко, от напряжения его лицо покраснело, щеки надулись и начали дрожать, то ли от напряжения, то ли от получаемого удовольствия. А я пытался разжать затягивающийся шарф, но руки мои были бессильны, и я чувствовал, что вот-вот задохнусь. Я помню, что подумал тогда, что я сейчас умру по-настоящему и Степкин будет виноват. Потом я потерял сознание и упал.

После этого случая я для себя решил, что так больше продолжаться не может. Мне было дико стыдно, что я, наверное, дрыгался весь, перед тем, как упал. И то, что я действительно мог умереть от рук этого ничтожного сына бригадиров, умереть просто так, от его, как он сказал на следующий день, «шутки», меня бесило. Но отвечать на побои я по-прежнему не мог, с моими силами это было бесполезно. И некому было за меня заступиться, брата я не посвящал в свои беды, мне было стыдно, да мы с ним и не очень ладили. Виля, с которым я обсуждал ситуацию на тему «что делать», сказал, что мне надо бросить теннис и записаться в секцию борьбы, но не классики, а самбо. Научиться болевым приемам и применить их на Степкине. Я резонно заметил, что пока я чему-то научусь, Степкин тоже не будет стоять на месте. Я занимался в школьной секции по настольному теннису, которую вел наш физкультурник. Он был перворазрядником и жаждал всех привлечь на занятия пинг-понгом. Многие из нашего класса хотели записаться, но когда Степкин, смеясь, сказал, что настольный теннис — это еврейский бокс, почти все застеснялись и отказались. Я записался назло этому жлобу, и после нескольких занятий мне понравилось играть в настольный теннис.

Нет, самбо мне не подходило, мне вообще не нравилась борьба, где спортсмены тужатся и пугают. В общем, мы тогда ничего не решили с Вилем, но теперь каждый день, каждую минуту я думал, как мне одолеть Степкина? Фантазия рисовала различные способы, но всё это было из области кино, а не реальной жизни. На мою удачу, Степкин после того случая немного испугался и не трогал меня. По его примеру сделали «перерыв» и Сербин и Забудин. Я радовался этой передышке, но понимал, что Степкин скоро «оклемается» и вернется к своим удовольствиям. Мне надо было спешить.

Большинство учителей (не евреи) меня не любили. И не заступались за меня, видя мои разбитые нос или губу. Посмотрят так на меня, с некоторым

любопытством, и переведут взгляд на других учеников, как будто ничего на мне нет. Классный руководитель, Всеволод, фронтовик, историк, не любил меня, может быть, и за то, что я раз видел, как он бил свою жену, нашу «русачку». Меня она зачем-то позвала к ним домой, и я пришел как раз в тот момент, когда они ругались. Дверь у них была приоткрыта, я открыл ее чуть больше и остался стоять, наблюдая происходящее. Это длилось недолго, Всеволод кричал на нее, изо рта у него шла пена (он был контужен и ранен), потом он начал ее бить, наступая на нее и прихрамывая... Когда она, отступая и прикрываясь руками, дошла почти до двери, Всеволод, конечно же, увидел меня, застывшего от «удовольствия» этого зрелица. Он как-то беззвучно закричал, отчего я испугался и убежал. После этого он стал в классе по всякому поводу вслух называть меня «дрянь», и его любимчики, те самые, кто меня бил, и еще пару их прихлебателей, вместо всегдашнего «драный» стали называть меня «дрянькер».

Меня не любила и географичка за то, что я позволял себе поправлять ее иногда в неправильной расстановке ударений в названиях городов и некоторых государств. Кроме того, Тамара часто ругала нас любимым своим словом «невежда», путая его со словом «невежа», и наоборот. Я ждал этого и не упускал случая уточнить — «жда» или «да»? Тамара вначале терялась, морщила свой «свинский», как мы все его называли, нос, затем окидывала меня презрительным взглядом, и затем уже переводила свой выразительный взгляд на Степкина. Это было всем понятно, и всегда при этом классный остряк Коча произносил со смешком слово «абгемахт», хотя учили мы не немецкий, а французский. А сука Степкин радостно откликался: «Еще как абгемахт!» И я знал, что после этого урока мне надо быстро «делать ноги», если я не хочу больно грохнуться об пол или получить сильный удар под лопатку, в исполнении которого сын бригадиров очень наловчился. Адель Шилькрут, самая круглая отличница, часто укоряла меня за мое подначивание Тамары и говорила, что я сам нарываюсь на побои от этого идиота. Я не спорил с ней, но не хотел ей объяснять, что только так я «залечивал» свои раны.

Мне иногда становилось жаль этих «теток и дядек», которым, я понимал это, тоже не сахар было учить таких дебилов. Но я уже не мог остановиться и перестать подначивать их. Только двух учителей я не трогал, и эти двое, как назло, были евреями. Но честное слово, я хорошо к ним относился вовсе не из-за этого. Один, математик, Ефим Беньяминович, с ним я играл в теннис на хорошую оценку в четверти, и он мне просто нравился как человек. И француз, Геннадий Хунович, который был такой беззащитный лопух, что вызывал у меня чувство жалости. С таким отчеством работать в советской школе мог только... а поц-айд... Наверняка и имя у него было не Геннадий, а какое-то явно еврейское, и он догадался изменить его. Так чего же он позабыл про свое отчество... Его иначе как «хуйнович» никто из этих тупиц-учеников не называл. А этот бедолага знал французский как настоящий француз! Я старался подражать ему, и он поощрял меня в моих стараниях хорошо говорить по-французски.

Но по остальным предметам учился я, надо признаться, не очень... Может быть, оттого, что презирал большинство учителей и не ценил те знания, которые они казенным языком излагали нам. Так что прав был «классный» Всеволод, когда вызывал в школу моего отца. Делал он это всегда одинаково: с иезуитской улыбкой отбирал у меня портфель и говорил всегдашнюю фразу: «Завтра только с отцом!»

Я переживал, хоть и знал уже, как поступлю. Я писал дома записку почерком отца, что «...никак в ближайшие дни не могу быть в школе по причине аврала на работе, убедительно прошу допустить сына с портфелем до занятий», обещал зайти через неделю и в конце уверял, что «...задам своему подлецу ту еще трепку!» И Всеволод неизменно покупался на это: прочтя записку, он возвращал мне сумку и толкал меня в спину со словами: «Иди, Дрянькер!»

В конце концов, я выбрал. Степкин назвал настольный теннис «еврейским боксом», и я решил заняться именно боксом, только не еврейским. И хотя мне бокс не нравился, я чувствовал, что это именно тот вид спорта, который может по грозности своей победить борьбу. И через два дня я уже стоял около спортзала. Таких, как я, желающих, было человек 30 пацанов. Тренер, невысокого роста, с усиками, красивый, как актер из индийского фильма, построил нас в ряд, прошелся вдоль линии, осматривая нас, и сказал, что ему нужно всего 6–8 человек, больше места в зале нет. Поэтому он даст нам перчатки, разобьет нас на пары по весу, и мы подеремся по паре раундов. Лучшие останутся.

Он объяснил нам вкратце правила боя, разбил нас на пары, и по две пары запустил на ринг. Потом дал сигнал «бокс!» и дунул в свисток. И пошла «махалка» тонкими руками, кто как мог...

Мне достался пацан чуть выше меня ростом. Я хоть, как уже говорил, не очень любил бокс, когда пришла моя очередь выходить на ринг, вдруг подумал, что не хочу и не буду проигрывать, и что, если я не побью своего противника, я не освобожусь от всех своих врагов.

Не помню уже, как он выглядел, да я его и не видел из-за поднятых его и моих рук в больших перчатках. Я даже не услышал сигнала начала боя, я только почувствовал приближение противника и близко от носа большие, коричневого цвета перчатки, набитые конским волосом. Какие огромные, помню, подумал я, такими получить по голове...

Нет, я не дрался с этим пацаном так, как будто на его месте были Степкин и прочие мои обидчики. Таких мыслей не было в голове. Я просто дрался с кем-то, кого должен был победить. И когда он, после того как мы попрыгали друг против друга, дрыгая руками, бросился на меня фронтально, я закрыл глаза и быстрее и злее его бросился ему навстречу. И после этого мы с ним почти не расходились, мы были как одно крепкое объятие.

Не помню ни его, ни своих ударов. И боли от них не помню, как будто ее и не было. Трудно было только дышать, намного труднее, чем когда бегали кросс на физкультуре. Только когда мы, закончив драку, пожали друг другу руки, я увидел через застилавший мне глаза пот фингал у него под глазом. И тут же подумал, что у меня, наверное, такой же.

Тренер не называл победителя и не комментировал бои. Когда последняя пара сняла перчатки, он снова построил нас и, указывая пальцем на выбранного, другой рукой трепал некоторых по щеке. Мою щеку он не тронул, но мне показалось, что его палец выбрал меня. Я был как в тумане и решился спросить вслух: «Я? Да или нет?» Он удивленно посмотрел на меня и, растянув от улыбки усы на губе, сказал: «Ты, да, если хочешь знать».

Когда мы уходили, тренер остановил меня и спросил, как меня зовут. Когда я назвал свое имя, он сказал: «Ты злой, тебя, наверное, бьют, потому что ты еврей? Если ты будешь драться всегда, как сегодня, будешь боксером».

Юрий Музлаев, мой первый тренер, сделал из меня боксера, но главное, он спас меня от побоев и унижения, за что я ему навсегда благодарен. Он был, кажется, дагестанец, и я почему-то чувствовал, что он даже любит евреев. Он разрешал мне оставаться после тренировки, когда в зале тренировались взрослые, опытные боксеры. Я чувствовал, что он благоволил ко мне и незаметно отличал от многих. Он часто говорил мне, что если я окрепну и еще подрасту, я могу стать хорошим боксером. Благодаря ему я полюбил бокс всей душой, и благодаря боксу я в дальнейшем смог избавиться от дурных поступков.

Но дома нельзя было и заикнуться о занятиях боксом. Родители мои никогда бы не разрешили мне ходить на занятия, и ничто не смогло бы их убедить, что бокс нужен мне. Поэтому я сказал, когда надо было попросить денег на спортивную одежду, что записался в настольный теннис. Мне приходилось проявлять немалую изобретательность, чтобы скрыть свои трехразовые занятия боксом. Мне нельзя было иметь синяки, чтобы не выдать себя. Это принуждало меня изощренно и лучше других защищать лицо. Бинты я оставлял в зале, а что-то из одежды, что не подходило теннису, прятал в сарае. Забегая вперед, скажу, что больше года мне удавалось скрывать от родителей свои занятия боксом. Разумеется, и в классе никто об этом не знал. Даже Виле я не сказал. Терпел издевательства этой «тройки», не выдавал себя, ждал своего часа. И, как в кино, он настал, этот мой час.

В один день я почувствовал, что пришло мое время, и что я уже могу противостоять им. Я чуть окреп, но главное — у меня появилась уверенность в своих силах, несмотря на то, что все трое оставались физически намного сильнее меня. Долго я мечтал об этом миге, по-разному рисовал его в своем воображении и очень волновался.

Но, конечно же, в действительности все оказалось проще. Но не менее драматично. В один из дней, на перемене, перед последним уроком, проходя

мимо Степкина, я как бы невзначай толкнул его. Он опешил от такой наглости, догнал меня и размахнулся, чтобы ударить, как он любил, под лопатку. Я отклонился и сам ударил его в плечо, по мышце и больно. Прозвенел звонок на урок и Степкин не успел среагировать. Я же, чтобы закрепить успех, послал ему записку, что вызываю его на поединок после уроков на Буюки — место около школы, где происходили все «официальные» школьные драки. Через минуту весь класс знал об этом. Адель Шилькрут прислала мне записку: «Ты что, сошел с ума?!»

Я тогда еще не читал Гамлета, но весь урок в моей голове вертелась, похожая на гамлетовский вопрос фраза. Я понимал, что если сделаю что-то не так, если сдрейфлю, то, кроме битья, буду еще и опозорен, и мне придется уйти из этой школы. Но больше всего мне хотелось отомстить Степкину. За все побои, за все унижения, что он мне нанес. Остальные двое меня волновали меньше. Все ученики обрачивались и смотрели на меня, кто сочувственно, кто как на ненормального, но никто не злорадствовал, нет. Меня в классе если и не очень любили за мое высокомерие (это при моем-то маленьком росте и прочих минусах), но и не ненавидели. Мне сочувствовали, потому что были уверены, что Степкин сделает из меня котлету.

Удивил меня дебил Забудин. Он послал мне записку такого содержания... чтобы я попросился выйти, типа в туалет, и рвал когти домой, а он возьмет мой портфель и завтра отдаст мне его. Меня это идиотское предложение тронуло и немного расслабило.

На Буюки пошел, кажется, весь класс. Даже все девочки, которые никогда не ходили смотреть драки. Степкин шел впереди, окруженный своей, как я называл их, «бригадой комтруда», а я сзади, на удивление окруженный большей частью класса. Меня подбадривали словами: «Драный», ну ты, как «Степу» бить собираешься, палкой или камнем?» Вили Момота в этот день в школе не было.

Наконец мы пришли на место, где всегда происходили драки. Все свалили сумки в одну кучу и сделали круг, в который поместились мы со Степкиным. Еще по дороге выбрали двух арбитров, и они огласили нам правила драки. Условий было несколько: до первой крови, до того, кто первый сдастся, и... да, кажется, и все. Мы выбрали второе. Потом стали друг против друга и по сигналу судьи о начале так и остались стоять несколько мгновений. Для Степкина все это было чем-то вроде циркового представления — он не понимал, как это можно со мной драться? Бить меня в классе, в коридоре — это пожалуйста, дело привычное, но стоять против меня как партнера по драке — к этому он не привык. Это его замешательство дало мне небольшое преимущество, я сделал шаг назад и стал в боксерскую стойку. Этого мой противник не ожидал, я увидел на его лице некоторое недоумение. Классу мой «фокус» очень понравился, все подумали, что я валяю дурака, чтобы превратить все в фарс и смягчить избиение. Все как-то радостно загалдели. Степкин чуть пригнулся по-борцовски,

сделал шаг вперед, намереваясь схватить меня. Недоумение сменилось уверенностью. «Сука такая!» — подумал я и, продолжая держать стойку, сделал ложный взмах левой, на что «Степа», конечно же, купился и чуть отклонился в сторону. В сторону моей правой, которой я незамедлительно заебенил ему по морде. Его голова мотнулась, он как-то хрипло хэкнул, закрыл голову руками и отскочил назад. «Драный, давай!» — крикнул класс. Дальше было не очень интересно. Степкин все время пытался меня схватить, я уворачивался и наносил ему одиночные удары. Наконец я точно попал ему по скуле. Видимо, больно, потому что Степкин зарычал и попытался сам ударить меня. Он попал мне по голове, но все равно было больно, кулак у него был тяжелый. Меня это тоже разозлило и я, уже совсем перестав его бояться, по всем правилам бокса сделал «двойку» — удар левой и правой. Правой я попал ему в нос, отчего у него сразу потекла кровь.

Степкин, как сын заслуженных бригадиров и как отличник учебы, в школу всегда ходил в костюме и светлой рубашке. Перед дракой пиджак он снял и закатал немного рукава на белой рубашке. И вот сейчас кровь обильно текла из его носа, и на рубашке тут же появились алые пятна с размытыми краями. Одной рукой Степкин зажал нос, вторую вытянул вперед и вверх и замахал ею, как будто он приветствовал своих боевых товарищев. Один из судей подскочил к нему и спросил его, что он хочет? Степкин показал рукой на свой «раненый» нос и загундосил что-то типа... кровь... сильно... Затем он повернулся ко мне спиной и пошел по направлению к сваленным в кучу портфелям. На песке еще не высохла его кровь.

Я шел, окруженный толпой, кто-то нес мой портфель и, пожалуй, впервые на меня было обращено благосклонное внимание всего класса.

«Драный, ты что, втихаря боксом занимаешься?» — дурачки ухмыляясь, спросил меня мудила Забудин и попытался обнять за плечо. «Ему бы тоже надо рожу набить», — подумал я лениво, но не исполнил этого. Я вообще расслабился и не мог собраться с мыслями. «Так что, занимаешься боксом, да?» — невозмутимо продолжал допытываться Забудин. Я остановился, повернулся к нему, поднял в стойке обе руки и сказал: «Да, Коля, занимаюсь, хочешь со мной побоксировать?» Забудин посерезнел, потом закрыл голову и, подражая голосу Степкина, дурашливо заорал: «Ой, сдаюсь, сдаюсь, ой, кровь у меня, ой не бей меня, Драный...» Все засмеялись, и я засмеялся, мне понравилась выходка Забудина.

Около школьных ворот я простился со всеми. Кто-то захотел проводить меня, но я отказался, мне хотелось остаться одному. Я шел по улице, держа портфель на весу двумя руками за спиной, и вспоминал все детали только что случившегося со мною. Как-то все так сразу произошло, я никак не ожидал, что грозный Степкин так быстро и позорно попросит пощады. «Может быть, —

подумал я, — нужно было с самого начала дать ему отпор, и можно было обойтись и без бокса?».

Но нет, без бокса обойтись никак нельзя было. Когда на следующий день я пришел в школу, я сразу обратил внимание, что место, где сидит Сербин, пусто. Коля Забудин, который вел себя как будто он мой «закадыка» и никогда меня и пальцем... вслух прокомментировал, что Серб сегодня точно не придет. Так и было, он не пришел ни в этот день, ни вообще до конца недели. А я все это время думал — бить мне его или насрать...

В том, что я могу побить этого гимнаста, я не сомневался. Я только не мог решить, как это сделать — на глазах всего класса, как это делал он, или один на один без свидетелей. Но «Серб» оказался хитрей. Когда я в начале недели вошел в класс, он уже был там и сразу, как только увидел меня, кинулся ко мне с протянутой рукой. «Драный, извини меня за все, и давай не будем...», — так сказал Юра Сербин, чуть склонив свою красивую голову с льняного цвета волосами. Класс ждал. В душе мне все-таки хотелось стукнуть его хоть раз, но я уже и остыл, да к тому же я видел, что всем, особенно девчонкам, хочется, чтобы я не трогал их любимчика. Я пожал его руку и тут же отошел от него, потому что мне показалось, что он, может быть, захочет обняться в знак примирения. Про себя же я решил, что ни с ним, ни со Степкиным общаться не буду. Только против Забудина применить личный «бойкот» нельзя было, он не понимал никакой своей вины и считал, что мы теперь «кореша».

Отношение учителей ко мне не переменилось после этих событий. Как и мое к ним. Они вообще даже и не знали, что я побил Степкина. Впрочем, нет, Тамара, та самая, которая путала «невежда» с «невежа», как-то заметила: «Что-то Дран-кер (она именно так произносила, с паузой, мою фамилию) перестал приходить в школу с «фонарями», наверное, перестал задираться ко всем ученикам...» Хотя она, наверняка, сука такая, знала, что «фонари» у меня от Степкина, который, по слухам, был ее родственником. И еще один учитель, единственный который мне по-настоящему нравился, наш математик, Ефим Беньяминович, как-то по-человечески и, более того, несколько стесняясь, сказал мне во время нашего очередного теннисного матча, что он рад, что я побил этого жлоба.

Тут, пожалуй, надо рассказать про наши с ним теннисные игры, которые со временем переросли для него в очень принципиальный вопрос, а для меня стали способом улучшить оценку в четверти. Ефим был наверняка очень хорошим учителем математики. К сожалению, у меня еще до него прошлые учителя успели отбить охоту к предмету, который он очень любил. Так сильно, что видеть не мог тех учеников, которые в математике ни бум-бум. Таких он презирал и когда вызывал к доске, то сам рассказывал за ученика урок иставил тому... тройку. Двоек он вообще, кажется, никому не ставил. Часто, когда он начинал новую тему, он говорил, что те, кому неинтересно, могут уйти на

площадку играть в баскетбол. «Я в журнале ничего не отмечу и двойку не поставлю. Но кто останется, чтобы было тихо». Я никогда не уходил играть в баскет, это было ниже моего достоинства, да и учителя я не хотел этим обижать. Ефим это ценил, хотя видел, что математика не трогает меня и мне часто скучно слушать его. Он никогда не спрашивал меня о причине моей не любви к его предмету, но я чувствовал, что ему неприятно это мое равнодушие к математике.

В то же время мне, как я уже говорил, сам Ефим очень нравился. Мне нравились его костюмы, они походили на висевший всегда в шкафу костюм отца, пошитый еще в Румынии, который он здесь никогда не носил. Мне нравились его рубашки в полоску с удлиненными концами воротника, которые выглядели на первый взгляд старомодно, но которые, я это чувствовал, были впереди моды. И в то же время мне было как-то жаль его. Думая о нем, я представлял себе его домашнюю жизнь, в которой присутствует его жена. Почему-то, мне казалось, что у Ефима жена — гойка, и ему с ней не очень хорошо. Черт бы ее побрал, эту «еврейскую проблему», но не было, кажется, в моей жизни места, где бы ни затрагивалась эта «тема». Я страдал от нее и поэтому часто думал о том, почему все, все не любят евреев?! Как-то я спросил отца, который жил когда-то во Франции, — а французы что, тоже антисемиты? И отец ответил, что да, но у них это заметно меньше, потому что они интеллигентнее других. Но такие же... И я тогда даже успокоился: если уж и французы, у которых есть Ив Монтан, де Голль, Бурвиль, Эдит Пиаф, — тогда, значит, все нормально, и с этим мне надо и жить.

Но вернемся к Ефиму. Мы сошлись с ним на любви к другому предмету — к настольному теннису. Ефим как-то зашел в спортзал и увидел там теннисные столы. Оказалось, что в молодости он занимался этим видом спорта и довольно прилично играл. Как-то мы оказались по обе стороны стола, и нам обоим понравилось играть друг с другом. Оказалось, что и он, и я любили подкалывать противника во время игры, что придавало ей остроту и необходимое волнение. Я вначале немного стеснялся, но потом перестал обращать внимание, что мой партнер — мой учитель, и находил самые колкие, но не обидные слова, чтобы разозлить и деморализовать противника. Мне это хорошо удавалось, здесь мой юмор находил себе лучшее применение, и, как оказалось, Ефиму это тоже нравилось. Более того, игра с другим партнером, такого же, как и я, мастерства, без этих подначиваний, не имела для него того притягательного смысла, и он быстро терял к ней интерес. Только со мной ему было по-настоящему интересно играть. Я это заметил и, надо сказать, стал этим пользоваться в корыстных, так сказать, целях. Я играл лучше его, но старался этого не показывать. Когда выигрывал, делал вид, что выиграл случайно и лишь из-за его оплошности, а не своего мастерства. Ефим так увлекался игрой, что, будучи взрослым и много старше меня, не мог распознать моего притворства и верил, что играем мы на

равных, но он меня переигрывает, когда захочет. Мне это было на руку, и я вскоре стал извлекать из этого свою выгоду.

Мы очень скоро стали играть «на интерес». О деньгах речь не шла, мы нашли другие интересы. Ефим, мстя мне за мое неглигирование математикой, часто во время игры заводил разговор на тему: как это еврей может не любить такой явно еврейский предмет и не петрит в нем так же, как, скажем, Забудин? Вот я называю жлобом Степкина, а он, давка, ниже четверки никогда не опускается. А я вроде бы и не дурак, ну, уж не дурнее Степкина, а вот в математике, ну... не нахожу слов, чтобы не обидеть вас, Дранкер.

Надо сказать, что меня сначала доставали такие разговоры, я злился и проигрывал. Я это понял, перестал реагировать и уже проигрывал только тогда, когда сам хотел потрафить Ефиму. Но как-то мы о чем-то принципиально поспорили и я предложил сыграть на «интерес». На какой? — спросил Ефим, и я, не долго думая, сказал, что на «залезть под стол».

Ефим немного побледнел, а потом покраснел и сказал, что не может согласиться на это, так как мы все-таки в школе и он учитель. Я продолжал его подначивать. Говоря, что... чего ему бояться, он ведь обязательно выиграет... Разумеется, отвечал он, но в школе этого нельзя. Тогда я вдруг сказал: «А давайте так, если я проиграю, я три раза под стол полезу, а если вы... вы мне поставите четверку в четверти. Годится или слабо?»

На сей раз он только побледнел. И сказал — Дранкер, а вы нахал! Но я не уступал, я видел, что «зацепил» его, и продолжал упорствовать, что только на такой «интерес» соглашусь играть. Ефим подумал и сказал, что согласится на такое условие: выиграю я, мне четверка, он — мне двойка. Как?

Я не ожидал, что он предложит мне «двойку». Двойку мне никак не хотелось, я вполне «тянул» на тройку. Да и четверка эта мне и на фиг, если честно, не нужна была. Я заспорил просто, чтобы подразнить Ефима. А он вдруг пошел на весь «банк», чего я от него не ожидал.

Мы договорились играть пять партий. Должен отметить, что в этот день я был не в самой лучшей форме и хотел попросить перенести игру на завтра. Но я видел, что Ефиму хочется сыграть этот «матч» именно сегодня, потому что он, в отличие от меня, был в хорошей форме, и я не стал ничего менять. Будь что будет, сказал я себе.

Ефим выиграл первую партию. Я нервничал, у меня не очень выходили удары слева, и он использовал это. Я уже жалел, что согласился играть.

Когда я просрал и вторую, Ефим, внутренне улыбаясь, но стараясь не показать своей радости, очень деликатно предложил мне: «Знаете, Дранкер, вы должны признать, что переоценили свои силы. Ну зачем вам ни за что ни про что получать двойку? Вы погорячились, ну... бывает. В четверти останется заслуженная троичка. Давайте остановимся и забудем про пари».

Да, как-то глупо было, ни за что ни про что получить незаслуженную пару в четверти. Чем мне мешала тройка... Если бы я в это время не занимался уже боксом, я бы, конечно же, согласился, тем более что Ефим был мне, ну, не совсем чужой... Но в боксе не просят пощады, ни в коем случае, так учили нас тренеры. Если раз попросить или согласиться на пощаду, боксу надо сказать до свидания. Потому что ты уже не будешь верить в себя и не сможешь побеждать. Так говорил Юрий Музлаев, и мы все, его ученики, верили ему. И я сказал Ефиму, тихо так, сдерживая свою злость, что накопилась у меня в душе из-за страха проиграть: «Спасибо, но давайте доиграем. У меня еще есть шанс, целых три партии впереди».

Ефим удивился, посмотрел на меня, вытер со лба пот и сказал протяжно так: «Да-а-а?» И затем невозмутимо спросил: «Чья подача?»

Я выиграл третью партию. И четвертую и пятую. После победы в третьей партии я переломил ситуацию, я почувствовал ракетку в руке, и удар слева пошел, и вообще я престал бояться двойки в четверти. В четвертой нервничать начал Ефим и проиграл из-за этого, а в пятой, когда счет был равным, я не стал предлагать ему прекратить партию, а тоже, как он когда-то, невозмутимо спросил: «Чья подача?»

Ефим пожал мне руку, потом спустил закатанные рукава, надел на них резинки, которые он всегда носил и сказал: «Вы, Дранкер, должны будете выучить два урока, которые я вам позже скажу, я вас два раза вызову, вы мне ответите без запинки и я вам два раза поставлю по пятерке. И четверка в четверти будет законной. Вы поняли, надеюсь?»

Я понял, надеюсь. Но меня, конечно же, подмывало предложить Ефиму сыграть еще пять партий на пятерку в четверти. Или единицу, которую, я был уверен, я не получу. Но я, молодец, сдержался.

Мы еще не раз играли с Ефимом на «интерес», но на оценку больше никогда, и это была единственная моя четверка по математике. Об этом человеке у меня остались самые лучшие воспоминания.

И когда я после 9-го класса покинул школу, он был единственным учителем, который простился со мной сердечно. Мы оба были растроганы почти до слез и оба искренне сожалели, что расстаемся. Уже в Израиле я узнал, что Ефим умер в возрасте 63 лет.

Должен сказать, что после этой драки некоторые девушки из класса стали ко мне относиться иначе. Вначале мне показалось, что мне это показалось, но потом один случай убедил меня в обратном. Одна, самая красивая, на мой взгляд, девочка в классе, как-то подошла ко мне и спросила — правда ли, что я занимаюсь боксом? И когда я ответил утвердительно, она сказала, что никогда в жизни не видела бокс «вблизи» и очень бы хотела увидеть эту игру. Я сказал, что бокс — это не игра, а бой. И что если она и вправду хочет, я могу

пригласить ее на соревнования, когда они будут. Она сразу согласилась и сказала, что хочет увидеть меня в бою.

Я уже несколько раз выходил на ринг на различных соревнованиях и даже занял третье место на первенстве нашего спортивного общества. Но все равно, хоть я уже и был не совсем новичок, я стеснялся пригласить девушку увидеть меня на ринге. Если бы она не напомнила мне несколько раз, я бы тоже сделал вид, что забыл об этом. Но она проявила настойчивость, и я пригласил ее. Сказал ей, куда приходить, и еще сказал, чтобы она ко мне там не подходила, что так не принято у боксеров. Я сам к ней подойду (если выиграю, подумал я про себя).

Соревнования проходили в спортзале. Разминались и готовились к боям в соседнем зале. Я не решился выйти в зал и поискать ее среди зрителей. А когда выходил на ринг, уже было не до того. И во время минутного отдыха я совсем не смотрел в зал, только на тренера своего, и слушал его наставления. Бой я выиграл, и уже в раздевалке, разматывая бинты, подумал об этой девушке. И, стоя под душем, я думал о том, как произойдет наша встреча, и что она мне скажет. Когда я оделся, я пожалел, что никогда не беру с собой одеколона.

Она не стояла около раздевалки. Я пошел в зал и там стал ее искать. Зрителей было не очень много, я несколько раз смотрел и даже пересчитал всех, но ее не нашел. И у входа в зал ее не было, да нигде ее не было, во что я не хотел верить. Но так это было.

На следующий день в классе я старался не смотреть в ее сторону, и она, я видел, была смущена. Перед последним уроком она подошла ко мне и, как-то неловко улыбаясь, пролепетала какую-то причину, помешавшую ей прийти. Я, в свою очередь, очень натурально сказал, что ничего страшного, и мы разошлись. Она забыла даже спросить меня, выиграл ли я? На душе у меня было, как говорил мой папа, накакано. И больше мы не сближались для разговора. Когда я узнал, что у нее уже целый год есть парень из старшего класса, мне уже было все равно. Она и выглядела не так как остальные девушки, была взрослея их, такая юная женщина, что ли...

Еще целый год после этого я сторонился девушек и все свое время отдавал боксу. Предстояли соревнования на первенство республики, и я очень хотел их выиграть. Мне это необходимо было, потому что все труднее становилось скрывать от родителей свои занятия боксом. Меня уже ставили в спарринг с взрослыми мужиками. Чтобы оббивался, как говорил тренер. Те вели бой жестко, били больно и беспощадно, и очень трудно мне было защищать лицо, чтобы ни одного синяка.

Я несколько раз уже собирался признаться родителям, что хожу на бокс. Я даже разыгрывал про себя сценарий, как рассказываю правду, затем показываю свои полученные за победы грамоты, удостоверение о присвоении мне юношеского разряда и под конец говорю отцу, что мой тренер хочет с ним встретиться и поговорить. И на этой встрече тренер рассказывает отцу, какой я

способный боксер, какие у меня радужные перспективы, и отец соглашается дать мне шанс. Шанс стать мастером спорта и затем... чемпионом Союза. О меньшем я не мечтал. Я был хороший фантазер.

Надо было только поймать отца в минуту хорошего настроения. Это было нелегко. Потому что, по словам отца, «советская власть» постоянно портила ему настроение, а эта «власть» была каждый день. Я подумал о субботе, но в этот день «везуха» явно была не на моей стороне.

К нам на обед пришли Шварцманы, муж и жена. Они были знакомы с родителями еще по жизни в Бухаресте. И хоть отец и не очень любил «этого трепача», как он звал Шварцмана, он звал их иногда в гости, потому что они были живыми свидетелями той румынской жизни, когда отец и мать были молоды и счастливы. Шварцман работал спортивным врачом на стадионе и часто присутствовал в качестве врача на соревнованиях по боксу. Делал он это не из любви к боксу, а из-за денег. Мне везло: когда он сидел за столиком врача, я как раз в те разы не дрался. Доктор Шварцман считал себя большим специалистом бокса и часто нес такую «дичь», что только домашнее воспитание не позволяло мне встать и сказать ему, какую чушь он несет!

В ту субботу они, как обычно, пришли к нам, вскоре все сели за стол, и началась трапеза. Сначала ели прозрачный, как «озера в Швейцарии» (так любил говорить мой отец), юх с рисом. То бишь бульон. Потом шли всяческие салаты, холодный язык, форшмак и затем фиш или курочка. Запивали вином. Нам с братом, если мы присутствовали, вино разбавляли водой. И велись разговоры, в основном на идиш или на румынском. Шварцман любил говорить «за политику», чего очень не любила его жена Ида, потому что боялась советской власти. Она старалась перевести разговор «на что-нибудь другое», например на спорт. И тут Шварцман, «а грейсер спец», начинал, и уже никто не мог вставить слова. В тот день он вдруг заговорил, на мое «счастье», о боксе, в котором, как я уже говорил, ничего не петрил. О том, какой опасный это вид спорта. Он рассказывал о разных разбитых во время соревнований носах, о рассеченных бровях, об очень болезненных ударах в живот, в печень и, наконец, добрался до головы. Удары по которой были, по его оценке, просто опасны для жизни боксера. Речь зашла о нокаутах. Мне хотелось встрять и сказать, что по голове в боксе не бьют, не интересно. Бьют по лицу и не обязательно, чтобы удар был нокаутирующим.

В качестве подкрепления своей «дичи» Шварцман привел (на мое несчастье) пример, действительно имевший место в местной боксерской жизни. Речь шла о моем бедном тренере. Который совсем недавно, неожиданно для всех его почитателей, учеников и многочисленных друзей, был нокаутирован во время матча с румынской командой из города Клуж.

Румыны приехали к нам и должны были провести три матча с местными клубными командами. Первая встреча была со сборной «Динамо». Мой тренер,

«Таракан» (В. Тараненко), был фаворитом в среднем весе. Он был всеобщим любимцем, потому что был красивым мужиком, красиво дрался и имел вес в блатном мире нашего города. Против него вышел никому не известный румын по фамилии Пую, которого публика сразу стала громко называть «цыпленком».

Когда на ринг вышел Таракан в синей динамовской майке и красных атласных трусах, чисто выбритый, с мокрыми, немного кудрявыми волосами, которыми он красиво и коротко встряхнул, поклонившись, публика взревела, приветствуя своего любимца. Затем противники сошлись в центре ринга, чтобы пожать друг другу руки и выслушать короткие наставления судьи. В это время большинство зрителей рассуждало о том, как быстро Таракан положит «цыпленка».

Мой тренер не был нокаутером. У него не было ни сильной левой, ни правой. Он был настоящим технарем, с очень хлестким ударом левой, хорошиими двойками и красивыми апперкотами с обеих рук. Он был «королем» средней дистанции, мог красиво и точно попасть по печени и послать в нокдаун. Но нокаутов его победы не знали. Да и не надо было нам этого, мы все хотели техничной, как всегда красивой победы.

Таракан так и начал, левой, левой, легко и хлестко, как обычно, и сразу у противника заслезился глаз. Таракану зааплодировали и засвистели. Это были жлобы, не понимающие настоящего бокса. Потому что через минуту стало понятно, что румын не фуфло боксер. Он красиво вел бой, хоть и пропускал несильные «двойки» по лицу. Еще пару апперкотов точно припечатались по майке румына неподалеку от печени, и первый раунд был весь Таракана. Хотя он и пропустил пару неслабых ударов по скуле, отчего голова его немного дернулась.

Но в перерыве его секундант наверняка указал ему на некоторую опасность манкирования защитой, и видно было, что Таракан машет головой, соглашаясь с этим, и понятно было, что больше он не допустит такой оплошности. Когда прозвенел гонг второго раунда и судья сказал короткое «бокс», Таракан, красиво танцуя, с высоко поднятой на животе трехрядной резинкой трусов, сделал обманное движение левой, быстро присел, ударили правой в живот и, распрямляясь, левым, а затем и правым боковым закончил красивую серию. За что заработал чистые три очка и одобрение понимающих в боксе болельщиков. Видно было, что он хорошо чувствует противника и у него в планах еще несколько таких же красивых серий, которые должны были закрепить его успех.

Новую свою атаку Таракан решил начать с красиво проведенного «сайтстепа», благо его партнер по рингу давал ему такую возможность, атакуя его несколько раз левой прямой. Таракан после третьего левого (два первых удара только скользнули по его лицу) ловко отбил своей левой руку противника, завел правую ногу в сторону, как того требовало классическое исполнение этого

эффектного приема, и выпустил правый перекрестный, встречный удар. И... зал заревел. Но не от восторга.

Зал заревел от того, что Таракан в какую-то долю секунды оказался на полу. Он красиво лег и лежал, как будто собирался полностью расслабиться и отдохнуть.

Даже сегодня, когда я пишу эти строки, у меня в груди ноет немой стон, а тогда, в то мгновение, клянусь вам, этот стон громко вырвался из моей юной груди и столкнулся с множеством стонов, покрывших все пространство над рингом, где лежал, как отдыхал, любимец всех, мой тренер, Таракан.

Это была международная матчевая встреча, и по правилам судья был обязан досчитать до девяти и потом тихо произнести «аут». Но ясно было, по тому, как лежал Таракан, что можно считать и до двадцати, и больше... Когда судья, наконец, закончил счет, первым к Таракану подлетел его секундант и подложил руку под голову своего боксера. Сразу же в центре ринга оказались несколько наших тренеров и доктор, который отодвинул всех, кроме секунданта, возгласом «Дайте ему воздух!» И затем поднес к носу Таракана ватку с нашатырным спиртом. Потом он дал указание, чтобы Таракана подняли и посадили на стул в его угол, куда стали напирать, толкая друг друга, многочисленные друзья Таракана.

Я помню, что мне удалось заскочить на ринг, и я, несмотря на свой небольшой вес, смог прописнуться к своему тренеру и держать его за руку, когда его тащили к стулу и подносили в угол. Потом меня оттеснили, потом Таракан очнулся и его, поддерживая под обе руки, повели в раздевалку.

Я обратил внимание, что румынский боксер в это время стоял в своем углу, что-то обсуждая со своим тренером и представителем, и видно было, что ему очень неловко за содеянное. Но на него, как ни странно, не очень и обижались. Никто, кажется, не заметил удара, который послал Таракана на пол. Все, когда обсуждали это мгновение, только пожимали плечами, недоумевая, как это они не заметили этого правого румына, правого нокаутирующего прямо в подбородок, от которого невозможно не упасть и не замереть на полу. Потому что, как объясняли опять же все эти умники, такой удар в подбородок отключает работу мозжечка, отвечающего за двигательные функции боксера.

Когда Таракан после этого боя оклемался и вернулся к тренировкам, он простодушно признавался, что совсем ничего не помнит из этого боя. Особых последствий этот нокаут не оставил, разве что у него немного больше стала дергаться его красивая голова, и были моменты, когда ты с ним о чем-то договаривался, а он через минуту забывал о чем. А так больше ничего плохого.

А этот доктор, этот «а штик спортивный шмок», как называл его мой отец, за столом, в субботу, в страшных красках описывал падение Таракана, его немощь после выхода из больницы (где Таракан не был) и его полную затем

инвалидность. «А у кого же я тогда тренируюсь?!» — хотелось мне воскликнуть, но нельзя было... Момент для признания был полностью уничтожен этим... ну, вы понимаете.

Мы, все, боксеры, его ученики, Таракана очень любили. И он нас любил. И меня любил, хотя, я уверен, что он не раз, среди своих друзей, по пьяной банке, произносил слово «жид». Но я ему прощал это. Потому что было что-то неповторимое в его тренировках, в его отношении к боксу. После того как мой первый тренер, Юрий Музлаев, уехал из города в другой, где ему предложили лучшие условия, я месяц целый не тренировался. Не мог привыкнуть к мысли, что могу ходить к другому тренеру. Но за этот месяц безделья я так разболтался без тренировок, что решился и выбрал Таракана. Я недолго к нему привыкал, как-то сразу мы пришли друг другу по душе. Хотя Музлаев как человек был тоныше, в «Таракане» была обаятельная удачливость такого, что ли, симпатичного бандита, каких я видел парочку в кино. У него большинство друзей были серьезными уголовниками, и Таракан пользовался большим авторитетом в этом мире. Надо сказать, что часть этой популярности перепала и некоторым из его учеников.

У него не было глубоких знаний бокса, все, что он умел и чему учил нас, было взято им только из его собственного опыта. Но он как-то легко учил этому нас, и к тому же он не жалел времени на тех учеников, кого любил. Он хорошо держал на лапах, но тонкого понимания боя у него не было. Зато у него были свои приемчики, свои, как теперь говорят, «приколы», и они действовали безотказно. На меня всегда. Так, например, когда он тебя секундировал и ты совсем немного опережал по очкам своего противника, Таракан в перерывах, когда отмахивал полотенцем, вдруг останавливался, делал какое-то грозное лицо и выдавал такой примерно текст: «Так, ну что, Лазарь, мы проигрываем, проигрываем, и кому? Ты его хоть видел, что он за боксер? Та ни хера в нем нет, ты ему просто отдать хочешь победу. Мне стыдно. Тут мои друзья сидят... если и в этом раунде ты так же будешь драться, я полотенце выброшу, понял?»

И так убедительно он это говорил, что ты, хоть и чувствовал, что не проиграл раунд и не первый раз слышишь этот текст, все равно вначале пугался. Затем тебе делалось неудобно и даже стыдно, что его, тренера, ставишь в такую ситуацию... И в следующее мгновение ты собирался, успокаивался и слушал его простые наставления. И выигрывал бой.

Еще мне нравилось в нем, что он не говорил такие слова, какими многие тренера наставляли своих воспитанников, вроде «порви его...», «да забей его...», «по печени, по печени, добивай!»

В нем не было садистских наклонностей, потому что он сам, как я уже говорил, любил выигрывать технично. Но если он знал, что ты мог ударить, то есть что у тебя есть удар, он все равно никогда не требовал, чтобы ты этот удар применил в самом начале первого раунда. «Поиграй, побоксируй — что плохого

побоксировать, очки набрать, опыт применить, а уж потом и врезать, шоб судья счет открыл!»

И вот месяца за четыре до первенства республики по юношам, в которых мне предстояло участвовать, он мне сказал на одной тренировке: «Давай, Лазарь, выступим хорошо на республике и возьмем желтую медаль».

Я и сам хотел этой медали, этого первого места. Мне оно нужно было, чтобы легализовать занятия боксом, другого способа у меня не было. И мы начали тренироваться. Одного-двух соперников своих из других городов я приблизительно знал, но Таракан сказал мне: «Та, забудь это, не думай, как он дерется. Как ты схочешь, так он и будет драться, мы наш бой ему навяжем, понял?»

Пять раз в неделю по три часа уходило у меня на тренировки, а шестой день у нас был кросс и потом парная с расслабоном. Дома я сказал, что готовлюсь к первенству республики по теннису.

Перед чемпионатом к нам приехал из Бельц тренер Петухов с несколькими боксерами, провести спарринги. Он писал стихи, которые всегда читал, когда тренера собирались на соревнованиях, выпивали, и рассуждали о хороших боксерах. «Любитель бокса и стихов, х... тренер Петухов» — так о нем шутили его товарищи, всегда произнося только букву «х». В моем весе был боксер по фамилии Цуладзе. Когда я увидел его в раздевалке, он мне очень понравился, а его хорошо развитые мышцы вызвали у меня зависть. К тому же он был красивым грузином, высокого роста, и сложен как скульптурный греческий атлет. Я вначале был уверен, что он весит больше меня, и когда он вышел против меня на спарринг, даже мой тренер удивился и сказал Петухову: «А вы ничего не перепутали, товарищ Петухов?» Но Петухов сказал, что Цуладзе весит 63 кг. И тогда мы пожали друг другу руки и начали бой. У меня был мандраж, который не прошел за все три раунда. Таракан это видел, но на сей раз не говорил своих обычных «счас выкину полотенце». Он сказал только несколько раз: «Уходи от его ударов... смотри сам, какой бой построить». Когда закончился спарринг, я понял, что проиграл все три раунда. Таракан ничего мне не сказал, сказал только: «Иди сразу в душ, ты маленько перетренировался». И я был рад этому, потому что мне было стыдно перед ним и перед остальными боксерами — я считался неплохим боксером.

Чемпионат республики проходил не в моем городе, мы поехали на поезде на четыре дня, сборная «Динамо» по юношам. Мне исполнилось 16 лет, это был мой первый чемпионат. На взвешивании я увидел пару своих предполагаемых противников, все они были выше меня ростом. Был там и Цуладзе, и мне показалось, что он стал еще накачаннее и мощнее. Потом была жеребьевка, и затем тренер принес список пар. Я подумал, что только бы этот Цуладзе не попался мне в первом бою. Фамилия моего противника мне ничего не говорила, но она навязчиво звучала в моих ушах. А Таракан, когда я размялся и он взял

меня на «лапы», сказал, что... ничего особенного этот пацан, как боксер, не представляет, и надо его «сделать» так, чтобы следующие увидели и пересрали, понял?

Ну, насчет «пересрали» у меня такого куража не было, но после первого раунда я понял, что могу выиграть. Таракан сказал в перерыве: «Шо ты его гладишь, Лазарь, надо жестче и зле. Давай».

Я выиграл по очкам. Второй бой тоже. В третьем, можно сказать, мне повезло. Противник был такого же роста и умудрился во втором раунде посеять себе бровь. Наверное, об мою шнурковку. Как бы там ни было, у него сильно текла кровь, и врач остановил бой. Я прошел в финал.

Своего последнего противника я уже знал. Петя Герасев, который тоже вышел в финал и должен был драться в следующей паре, чтобы ободрить меня, сказал мне, что... ну и что, что он накачан, как культурист, у тебя такая защита... За эти слова мне хотелось послать Петю далеко-далеко. Когда я размялся и Таракан взял меня на лапы, он сказал: «Ну, знаешь как будешь таскать этого бугая?» А когда я ничего не ответил, а только махнул головой, он сказал: «И хорошо, что он бугай, есть куда попадать. А что он накачан, так у нас защита, как не у всякого. Но я хочу, чтобы ты нападал, и так нападал...» Он стукнул меня легонько лапой по плечу и добавил: «Мандраж есть?»

Мандраж был и немалый, когда я вышел на ринг и увидел своего противника. Он стоял в своем углу спиной ко мне, из-под майки выпирали рельефные мышцы, даже не все взрослые мастера имели такие мышцы. А Таракану как будто все было «по барабану». Он мельком взглянул на моего противника и сказал: «Правильно мы посчитали, он и есть бугай. Так мы его заставим побегать и покрутиться, этого Цуладзе».

Судья на ринге у нас был Фима Фонарь, тоже тренер из моего города. Дурашливый был мужик. И душевный. Ну и, разумеется, еврей. Меня это как-то успокоило, хотя ничем он мне помочь не мог.

Да, этот Цуладзе не зря такие мышцы качал, удар у него был. Но, на мою удачу, не концентрированный, не точный удар. Конечно, если расслабиться и нарваться на него, то и на жопе можно было оказаться, о чем мне Таракан сразу выдал после первого раунда. И он же меня немного похвалил за мои частые и точные удары по корпусу, в живот. Цуладзе был выше меня почти на голову, и я, конечно же, работал в ближнем. Когда бил по животу, по натянутым мышцам его, как об стену, костяшки рук все себе отбил. И еще, когда мы вязались в ближнем, сцепившись руками, он меня как котенка в стороны отбрасывал, за что ему судья чуть не дал предупреждение. Я пару раз, когда мы с ним дышали близко друг на друга, подумал, как это он в моем весе оказался, наверное, гонял много. Потом увидел, что у него очень худые ноги.

В перерыве перед третьим раундом Таракан все-таки выдал свое любимое. Когда я подошел к своему углу, чтобы сесть и отдохнуть, он бросил в меня целую губку воды, одним взмахом, прямо в лицо, так, что я чуть не захлебнулся. Лицо у него было злое, и он резко бросил мне: «Садись, шо ворон ловишь!» Потом, отмахивая полотенцем, сказал: «Если и в третьем будешь так его царапать, я выброшу полотенце. Я хочу, чтобы ты весь раунд его потаскал, чтобы он "сдох" и у твоих ног упал, понял? Ты посмотри на его ноги, это же спички, он же еле волочит их. И когда ты в живот отвечаешь, на его левый, надо же еще добавить в голову прямой и боковой. У тебя же есть удар, шо ты его держишь, или мы его мышц спугались, Лазарь?»

Перед началом финальных боев кто-то из пацанов, кто уже не дрался, пришел в раздевалку и сказал, что за первое место дают, кроме медали, спортивный костюм, типа «олимпийский», или часы классные. И я тогда подумал, что без часов не уеду отсюда. Мне они нужны были не для себя, а для родителей.

В конце третьего раунда мы оба так устали, что буквально висели друг на друге. Мне показалось, что Цуладзе устал больше меня. И тут я услышал, как мои ребята кричат мне «сахар». Это у динамовцев такой свой сигнал, что осталось полминуты и надо все отдать и самому закончить раунд. При вынесении решения на судей влияет, как боксер дерется в конце раунда, кто активнее, кто больше хочет победить. «Сахар» мне помог. Я сделал несколько ложных движений, и мой противник оказался в углу. Тогда я сделал нырок и бросился на него, минуя его руки. И я увидел близко его лицо, увидел, как он хватает ртом воздух, увидел его усы и почувствовал, как его пот льется на меня. Его ударов я не чувствовал, зато в него было удобно попадать, в его большое, сильное тело. Я бил и попадал.

Я так устал, что после удара гонга чуть не упал на пол. Фима Фонарь почувствовал, видимо, что у меня ноги подгибаются, он подскочил ко мне и зашипел — не падать, сука, дойти до угла и стоять как боксер-победитель!

Бой закончился в углу Цуладзе, а мне еще надо было пересечь все пространство ринга до своего угла. Когда я услышал сердитое Фимино «сука», я как на циркулях поковылял в свой угол, к своему секунданту, который снова бросил мне в лицо спасительный сноп воды и, улыбаясь, сказал: «Садиться мы не будем, у нас есть силы, мы не Цуладзе». Держась одной рукой за канаты, я обернулся и увидел, что Цуладзе сидит, обессилено вытянув ноги и опустив голову. «А, качок, — подумал я, — ты пожиже оказался...»

Нас вызвали на середину ринга, мы пожали друг другу руки, потом Фима поставил нас по обе стороны своих рук, и через какое-то мгновение я почувствовал, как он поднимает мою руку вверх. Тут я начал приходить в себя. Пошел в угол противника, пожал, как положено, руку его секунданту, потом вернулся к судье, поклонился коротко ему, Фиме Фонарю, а он постучал по

моей голове рукой и потом вернулся к себе. Таракан меня обнял за талию и слегка поднял вверх. И, кажется, ничего при этом не сказал.

Только потом, когда мне повесили на шею «золотую» медаль, а на руку одели часы, где на обороте было выгравировано мое имя и что я — чемпион республики в таком-то весе и таком-то году, Таракан поздравил меня и попросил показать, что написано на часах.

На следующий день мы возвращались. С вокзала я на троллейбусе доехал домой и вот уже входил в наш двор. В поезде я по-всякому рисовал себе сценарий своего возвращения домой, и как я преподнесу медаль и часы родителям. «Войду в квартиру, встретит меня мама, спросит меня... я скажу...»

Мама стояла у нашего палисадника, рядом с ней стояли соседки, мадам Богдановская и мадам Школьник. Был теплый, солнечный летний день. Когда я подошел к ним, я чуть отвернул лицо. Чтобы они не заметили моего «фонаря» под глазом, который мне набил Цуладзе. Но мадам Школьник, глазастая такая,глядела мой «фингал» и очень возбудилась. «Ой, Лазарь, что у тебя под глазом, — закудахтала она, — откуда это у тебя, мальчик?»

Я буркнул что-то вроде — купил в магазине — и, отворачивая лицо, прошел мимо них и вошел в дом. Там я сразу снял часы и положил их на кухонный столик, чтобы мама сразу увидела. Медаль я положил рядом и вошел в комнату. Сел в кресло и стал ждать. Мне очень хотелось спать. Но нужно было дождаться отца. Мне еще предстоял бой местного значения. Но я совсем не дрейфил, медаль и часы придавали мне уверенности.

Я услышал, как мама вошла в кухню, как она подошла у столу. Потом скорее догадался, чем услышал, что она взяла то ли медаль, то ли часы. Потом она вошла в комнату, держа мои трофеи в руках, и, стоя у двери, сказала: «Ну так что, эти вещи стоят твоего здоровья? А если бы тебе выбили глаз, а? Между прочим, я уже давно догадывалась, что это не теннис. Но чтобы это был бокс... Подожди, придет папа, что он скажет. Я же тебе скажу, что бокс — это все-таки не интеллигентный и гойский вид спорта, согласись со мной, сынок».

После этой победы мне, что называется, поперло. Отец, увидев медаль, часы, мое осунувшееся с фингалом лицо, посмотрел на маму и сказал свое всегдашнее — «ну, вус зугсты, момы...» И я остался в боксе.

И еще я вдруг начал прибавлять в росте. Мой невысокий, а если честно, маленький рост мешал мне во всех отношениях. На ринге это всегда давало преимущество моим противникам, и мне приходилось делать большие усилия, чтобы выигрывать со своим маленьким ростом. И в обычной жизни мне это мешало. Я стеснялся подходить к девушкам, в то время как все мои товарищи уже обзавелись своими девушками и имели с ними определенные отношения.

Надо сказать, что друзья у меня были не самые правильные. Не самые, конечно, хулиганы или бандиты, нет, но и не подарок для милиции. Самый

близкий друг, Адик Мареев, тоже был боксером. Он пришел в бокс позже меня, но быстро «поднялся» и, по мнению многих тренеров, подавал большие надежды. Худой, высокого роста, с сильным, резким ударом слева, он, несмотря на быстрые победы, к боксерскому своему таланту относился достаточно равнодушно и пошел заниматься боксом, скорее всего, потому, что был он худ как жердь и не умел драться. Когда же он этому научился, он стал применять свои способности в уличных драках, где ему всегда хватало одного-двух ударов, чтобы доказать свое преимущество. Постепенно уличные драки стали его интересовать много больше, чем бои на ринге. Он становился уличным «королем». Вначале «корольком» нескольких улиц, потом кварталов, потом района. У него появилась «кодла» из четырех крепких ребят и двух шестерок. Они встречались почти каждый вечер, покупали по бутылке столового вина на каждого и выпивали их «из горла», не отрываясь. После этого, расслабленные и храбрые, они рыскали по улицам и парку в поисках к кому бы придаться и подраться. К тому времени я уже был дважды чемпионом республики по юношам, с ними, конечно же, дружил, но к их «банде» не примыкал, хотя многое знал об их делах.

Им льстило иметь в друзьях «чемпиона», Адик вскоре, несмотря на уговоры тренера, оставил бокс и целиком переключился на завоевание уличного авторитета. Наши с ним отношения почти не изменились, хотя меня покоробило, что он «изменил» боксу ради интереса стать «авторитетом». Он был из приличной, как тогда выражались, семьи. Отец, главный инженер железной дороги, мать — учительница. Сам он был развитой парень, читал книги, и мы с ними даже обсуждали прочитанное. Я не раз уговаривал его оставить «улицу», я не понимал тогда, что Адику нравится иметь под собой кодлу.

Троє его новых друзей как нельзя лучше подходили для кодлы, улица была их домом. У Ромы не было родителей, его воспитывала тетка. Ему все было «до фени», лишь бы быть с друзьями и делать что-то «духарное», как он говорил. Он сел первым — за угон по пьяной лавочке машины и наезд на пешехода. Ему дали восемь лет «по малолетке», которые он продолжил на «взросляке», где «раскрутился» еще на какой-то срок. Я больше никогда его не встречал.

Виталик Киселев, был старше нас на два года, очень крепкий парень, любил, как он сам говорил, чтобы у него всегда «на кармане» были деньги. Но работать на заводе, как я, он не хотел. Не мог, как он сам говорил, «заниматься подневольным трудом». Он был из бедной семьи и жил с отчимом, деньги он мог добывать только «гоп-стопом» или воровством, что он и делал. Он сел вторым, за то, что стрелял из ружья в отчима (из его же ружья), с которым он не ладил, ранил его и получил пять лет лагерей, которые и отбыл «звонком». Потом он садился еще несколько раз и тоже утерялся из моей жизни.

Валера Квятковский, не знал, что фамилия у него польская. Он спорил со мной, показывая свой паспорт, где было написано «русский». Он никак не хотел быть поляком, для него было что-то оскорбительное в этом. Я спросил его, а может, отец твой поляк? На что он ответил, что отец их с матерью оставил, когда он был еще младенцем, так что, считай, у него как бы и нет отца. А мать его — русская, значит, и он — русский. Он был очень красивым парнем, я ему говорил, что он вполне мог бы быть артистом театра или кино, на что он смеялся и говорил, что у него только семь классов. Валера пользовался бешеным успехом у девушек, не было такой, что могла бы устоять против его обаяния. С ними он был мягким, таким, что ли, «бархатным» в отношениях, и трудно было представить, что в «деле» он был достаточно жестким. Ему «повезло», он не сел, а тяжело заболел. Грипп, перенесенный на ногах, продолжился какой-то инфекцией, которая парализовала его и уложила беднягу навсегда в кровать. Перенесенные страдания наложили на его красоту печать такого благородства, что даже малоподвижный он оставался не менее притягательным для женщин. За ним стали ухаживать две девушки — сестры-близнецы, которые вначале сами обратились в религию, а затем и его сделали верующим человеком. Сестры возили его в церковь, и ему всегда подавали много больше других инвалидов.

Но все это было потом, а пока предводителем кодлы был Адик, но все дела по добыче денег вел Виталик. Вначале они занимались тем, что по вечерам рыскали по улицам, останавливали парочки и забирали деньги и драгоценности, если такие были. Они шли на «дело» всегда в кепках, низко надвинутых на глаза и в солнечных очках. Ноочные грабежи не приносили больших денег, и тогда Виталик предложил квартирные кражи. У него был талант: он хорошо разбирался в дверных замках, и была у него большая коллекция разных ключей. Какие квартиры выгоднее грабить, этот вопрос решили быстро, Адик «наводил» на квартиры сослуживцев отца, которые занимали высокие посты. Грабили не особо профессионально, но дерзко. После грабежа вещи продавались задешево, деньгами сорили, пропивали по кабакам, ездили на такси, просто дарили девушкам. Я удивлялся, что милиция их не засечет при их таком «нескромному» поведении. Их так и ни разу не поймали, и все они сели не за грабежи и квартирные кражи.

Я уже говорил, что после удачного «дела» у них всегда было много денег. Они не раз предлагали мне их, но я отказывался. Конечно, когда мы ходили в кино, за билеты платили они, и когда я пару раз ходил с ними в ресторан, я тоже рубля не потратил. Но больше я их деньгами никак не пользовался. Они рассказывали мне некоторые подробности «посещения» этих квартир: как они вскрывали замок, если не могли открыть, и как однажды вошли в квартиру и в одной комнате увидели мужчину в постели. Это был больной хозяин. Они ничуть не испугались и сказали ему, что ищут кого-то, а дверь была открыта. Хозяин сказал, что они ошиблись, и ребята извинились и ушли. И еще про пару случаев они рассказывали, и мне стало интересно, как это они, которых я

так хорошо знаю, вдруг стали настоящими грабителями и рисуют, как говорится, на каждом шагу... В общем, мне захотелось увидеть все самому, посмотреть, как они это делают, и я попросил взять меня с собой в следующий раз.

Адик сказал мне, когда мы встретились, что, может, мне не рисковать, можно ведь и «попухнуть». Я и сам всю ночь перед этим думал, а вдруг поймают? Что я тогда скажу, что я просто посмотреть зашел? И что я родителям скажу? И что вообще буду делать, если меня посадят? Заснул только под утро от всех этих вопросов. Конечно же, я немного мандражировал, но отказаться было стыдно, сам ведь напросился. Пока я думал, что сказать Адику, подошли Валера и Виталик. Рома болел. Виталик сказал, стукнув меня ободряюще по плечу: «Не сцы, боксер, по первому разу всегда везет». И мы пошли.

Квартира, которую предстояло «взять», была тоже по «наводке» Адика. Ее хозяином был главврач железнодорожной поликлиники, в которой лечились его родители. Дом был хороший, с лифтом. Мы поднялись на 5-й этаж. Валера позвонил в дверь пару раз, проверяя, нет ли случайно дома хозяев. Было тихо. Потом Виталик достал из сумки связку ключей и стал подбирать хороший ключ. Мне показалось, что это длилось очень долго. Адик спустился на один лестничный пролет и стал там, Валера, остался около лифта и смотрел в лестничную шахту, а я стоял около Виталика. Мне подумалось, что как-то глупо, что мне не сказали, что делать на случай «шухера», но потом я подумал, что не сказали, наверное, чтобы не сглазить. В это время Виталик стукнул меня легонько по плечу. Я увидел, что дверь открыта. Валера тонко свистнул Адику, тот поднялся, и мы все вошли в квартиру. Я опять подумал, что глупо, что на «шухере» не остается никто. Но им виднее, не первая же эта у них квартира...

Квартира была богатой, этот врач жил не на одну зарплату. Я не знал, что мне делать. Поэтому чувствовал себя немного неловко. Мои друзья между тем вели себя тут «как дома». Они тут же направились в спальню. Виталик сказал — кто додует, где они деньги прячут, тому бутылка. Все засмеялись. Но деньги нашлись сразу, они лежали в шкафу, под бельем, в дальнем углу. Видно было, что хозяева не собирались их прятать, а просто положили от посторонних глаз. Денег было немало. Потом вытащили сумки и чемоданы и стали в них запихивать меха и пару женских шуб. «Хорошо живут друзья твоего папы, — сказал Виталик Адику, — но пришла пора и поделиться. Ничего, наживут еще добра, нахапают у больных».

Пока мои друзья набивали чемоданы и сумки вещами и драгоценностями, а я наблюдал за этим, время летело незаметно. Наконец, все, что можно было запихнуть и унести с собой, было запихнуто. Я пошел к выходу, радуясь, что можно уже убираться отсюда. Я вдруг представил себе лица хозяев, когда они придут домой с работы и увидят свою разоренную квартиру. Мне стало не по себе. Но меня остановил Валера. Он позвал меня на кухню, где уже сидели

остальные участники грабежа. У них была такая традиция: закончив в комнатах, они шли на кухню, вытаскивали из холодильника еду повкуснее и вместе с выпивкой праздновали успех. Я чуть было не заикнулся, что не рано ли праздновать, но во время прикусил язык. В холодильнике врача было не хуже, чем в шкафу. Достали хорошей колбасы, ветчины, вареной курицы, черной икры и пару бутылок дорогого вина. Сели за стол и, не торопясь, что меня прямо-таки взбесило, стали нарезать съестное и наливать по бокалам вино. «Полные идиоты, ну зачем показывать свою храбрость таким образом», — вертелось у меня в голове, но вслух я ничего не сказал, чтобы они не подумали, что я боюсь. А я, конечно же, боялся, мне так не хотелось попадаться из-за того, что им захотелось пожрать и выпить.

Да, у них была, конечно, выдержка. А может быть, уже привыкли. Они как будто специально не торопились, все делали медленно, и при каждом съеденном куске и выпитом стакане соревновались в остроумии по поводу богатства и гостеприимства хозяев. А мне кусок в горло не шел, но я тем не менее, как и все, ел и пил. А они радовались, что есть кого угостить и перед кем повышеннодриваться — потчевали меня лучшими кусками и наливали дополна.

Наконец мы все съели и выпили. Виталик пошутил — может, уберем? Все расхохотались и пошли в прихожую. Я боялся, что меня попросят что-то понести из украденного, но меня не попросили. Первым вышел Валера, без вещей. Через секунду он вернулся и сказал — все тихо. И опять я подумал, что меня не предупредили, что делать и что говорить, если вдруг...

Мы сели на лифт и поехали. Я молился, чтобы нам никто не попался по дороге, и нам никто не попался. Выходя из подъезда, я сильно наклонил голову и услышал, как Адик сказал: «Правильно, Лазарь, ты прирожденный домушник». И тут я вспомнил, что так называют тех воров, которые рыщут по квартирам.

Но все-таки какие-то правила конспирации они соблюдали. Например, не сели в такси, а, не сговариваясь, разошлись поодиноке со своими вещами. Я было замешкался, не зная, куда мне идти, но меня потянул за рукав Адик. Мы пошли на троллейбус.

Чемодан, который он притащил, мы спрятали в их сарае, где они держали дрова и уголь. Потом мы зашли к нему домой, и он мне сказал, улыбаясь: «Ну, как, словил кайф? Но больше не ходи с нами, а то руки будут дрожать на ринге».

После этого события я несколько дней «мучился» вопросом — только ли любопытство заставило меня пойти с ними? Или мне хотелось испытать себя, или я «позавидовал» им, что вот, они могут пойти на это, они не боятся, а я... Потом я вспоминал о том, что мы попросту ограбили людей! И хотя я себя оправдывал тем, что не брал ничего из этой квартиры, и даже чемодан не нес, все равно мне было очень не по себе. Еще и потому, что они могли после этого запросто подумать, что я ничем от них не отличаюсь. Адик нет, он понимал

причину моего с ними участия. В общем, мне было паршиво на душе, и я потом не раз еще вспоминал эту квартиру.

На следующий день Адик сказал, что мне причитается доля из тех денег, что мы там взяли. Я ответил, что мне лучше не брать этих денег, потому что негде их спрятать, а если я на что-то их потрачу, то родители сразу начнут расспрашивать. Адик сказал, что, конечно, я правильно рассуждаю, но ребята обижаются, как будто мне западло общие деньги. Тогда я сказал, что пусть он возьмет мою долю себе, а я у него их заберу, когда поеду на предстоящие через пару месяцев соревнования, где смогу потратить эти деньги. Адик согласился. Про себя же я решил, что никогда не возьму этих денег. Судьба была милостива ко мне: мне так и не пришлось воспользоваться этими деньгами. Через месяц Адика арестовали. Не за кражу, как я уже говорил, а за драку.

У них у всех были уже свои девушки, с которыми они, как принято было говорить в нашем кругу, «лазили». У Адика была самая шикарная девушка, и самая красивая, и самая известная. Светка Гайденко. Папа у нее был замминистра торговли. Адик увидел ее на школьном вечере. У нее был хахаль, с которым она танцевала все танцы. Она понравилась Адику, и он пригласил ее танцевать. Хахаль этот, довольно здоровый парень, стоял рядом, и когда Светка сказала Адику, что она не танцует, этот парень внушительно посмотрел на него худого. Адик отошел. Подошел к друзьям и сказал, что есть один «клиент», которого надо подождать и разобраться. Друзья согласились, для них это было привычное дело. И когда вечер закончился, Адик с ребятами уже ждали тех двоих около школы и пошли за ними незаметно, до самого Светкиного дома.

Мне об этом рассказывал Валера. Света, как оказалось, жила недалеко от меня. Когда они дошли до ее двора, зашли в него, и парень собирался, как обычно, ее поцеловать, из тени ворот вышел Адик и сказал, что он «все-таки хочет потанцевать со Светкой». Ее парень все понял, он только сказал, что их трое, а он один. Но Адик сказал, что его друзья здесь ни при чем и могут даже отойти подальше. Парень снял пиджак, Адик свитер. Светка было собралась «выступить» и сказала что-то типа, «мальчики, ну, кончайте...» потом она сказала, что она девушка этого парня и Адику ничего «не светит». Она и еще что-то сказала, но потом она поняла, что ее слова ничего сейчас не решают.

А может, ей было немного приятно, что из-за нее собираются драться два парня. И к тому же она была уверена, что ее широкоплечий парень наверняка побьет худого Адика.

Но она не знала про то, что Адик, хоть и бросил бокс, но удар у него остался... Когда они стали друг против друга и Светкин парень поднял руки наподобие стойки, Адик не стал поднимать свои длинные, худые руки, а сразу выкинул левую и достал ею челюсть крепкого парня, что стоял напротив. Тот не упал, хотя удар был не слабый. Он сам замахнулся и ударил, но не попал, потому что Адик отклонился. Назад отклонился и сразу ударил, чуть подняв

правую и сжал ее в кулак. Он попал прямо в кость под глазом, и тот парень упал. Светка бросилась к нему.

А через пару дней Адик уже знакомил нас со своей новой девушкой Светой. Он улыбался до ушей. И все было понятно: такая красивая девушка, из такой «неслабой» семьи, так романтично отбитая… Адик тогда не предполагал, что уже начал копать себе «могилу». Потому что, хоть Светка и сразу оценила разницу между ее бывшим, слишком правильным, и поэтому пресным кавалером, и веселым, с авантюрной жилкой «королем», в которого она даже влюбилась, но Адику это знакомство не принесло большой радости. Ибо его судьба решалась уже не им самим.

А двумя другими людьми, которые не хотели для Светки нового кавалера. Отец этого парня занимал высокую должность в МВД и был весьма полезен заместителю министра торговли. Он был очень разгневан, когда узнал, каким образом его сын лишился красивой дочери «торгаша», как он называл отца Светки. Обоюдные интересы сошлись в головах весьма влиятельных в республике людей, и это не сулило «королю» ничего хорошего.

Оба отца договорились, и Адику устроили простейшую подставную драку, сделали его зacinщиком, арестовали, привели в милицию и… осудили по статье и дали три года.

Сестра Адика была невестой майора из МВД. Стали суетиться, выручать брата. Но ничего не выходило: вторая сторона — оба отца — оказалась сильнее, и Адик загремел «по малолетке». Светка плакала горючими слезами и поклялась ждать своего любимого. И первые несколько месяцев была образцом верности: писала письма и даже порывалась присоединиться к родителям Адика, когда они ездили навещать сына, но замминистра не пустил. Но ненадолго хватило «обета»: страсти, разбуженные ее сидевшим в заточении любовником, кипели, и тело требовало утешения. Кодла ретиво охраняла девушку своего «короля» от посягновений разных жлобов, но установить «железный занавес» не удалось, просачивались в щели «утешители». До Адика дошли слухи, и он передал своим «подчиненным» — не сторожить его бывшую девушку. Света, когда почувствовала, что охрана прекратилась, все поняла, поплакала маленько и утешилась.

«Блат» пригодился в лагере, Адика освободили по половинке. Его привез тот самый майор, жених сестры — теперь уже подполковник, муж сестры. Адик побыл часа три дома, потом вышел вечером на бродвей. Встретился с друзьями. Не пил ни грамма. Побазарили немного (о Светке ни слова), потом он сказал, что устал, и пошел домой.

Но домой он не пошел, позвонил по какому-то телефону и назначил встречу. Его лагерный друг, не последний урка по кличке Чалый, попросил его передать «ксиву» своей «марухе» по имени Света. Они встретились, Адик передал и ушел. А на следующий день снова позвонил. Они встречались каждый

день, как будто дня не могли друг без друга. Чалый когда узнал, поклялся Адику убить. На что тот только улыбнулся. Он становился на честный путь, тем более что кодлы уже и не было. Рома сидел, Виталик сидел, Валера болел. Адику ничего не оставалось, как поступить в политех.

Я, как уже говорил, в это время работал на заводе слесарем. Я понимал Виталика, который не хотел заниматься тем самым «подневольным» трудом. Я бы им тоже не занимался, с радостью не был бы членом бригады «борющейся за звание комтруда», если бы у меня была возможность этого не делать. Но я рос в небогатой семье. После 9-го класса я перешел в вечернюю школу, потому что не хотел учиться 11 лет. В «вечерку» брали тех, кто работает, или тех, кто мог представить фальшивую справку о работе. Мне было 15 лет, на работу по закону принимали только с 16, но по какому-то блату через главного инженера завода меня устроили слесарем по сборке гидронасосов. К тому времени я вдруг начал расти и уже вполне сходил за 17-летнего. Вдруг стало не хватать времени, особенно на тренировки. Но в этой школе, на мое счастье, не надо было затрачивать на учебу много времени, я там даже стал успевающим учеником. И на девушку, которая у меня появилась, тоже времени было не очень...

Я с ней познакомился на вечере в музыкальной школе. Даже не помню, как туда попал, у меня точно не было знакомых в мире музыкального искусства. На вечере этом я был с какими-то знакомыми ребятами. Стал приглядываться, кого бы пригласить. Пригласил одну девушку, потанцевали, поговорили. Проводил на место. И еще с двумя танцевал, пока заметил невысокую, очень симпатичную и веселую девушку. Я подошел и тоже пригласил танцевать. Во время танца никак не мог начать разговор. И только в конце, чувствуя, что я не хочу ее потерять, я что-то сказал и попросил у нее телефон. И на следующий уже день позвонил.

Она училась в последнем классе. Играла на фисиле. Мы стали ходить на концерты приезжающих солистов. До этого я ходил в филармонию только на чтецов. А тут стал и на фортепианные концерты ходить. Мой друг Толя Кошель, баскетболист, удивлялся, что это я из себя корчу? Он мне так и сказал, чтобы я не выпендривался и не делал вид, что мне нравится слушать эту занудную музыку. Я сказал, что конечно... но девушку обижать неохота. И его раз взял с собой. Мы сидели в самой середине ряда, и он, бедняга, вынужден был просидеть все первое отделение. Но как только объявили перерыв, он тут же рванул и мне сказал: «Пошли, я тут уже офуел, ну, вы даете...» А я сказал: «Толян, не могу, Ирка обидится». Он ушел один. Я ему не мог сказать, что мне на самом деле нравится. И никому из друзей, к сожалению, не мог я сказать, что классическая музыка это хорошо. Меня бы на смех подняли, сказали бы, что я выпендриваюсь. В таких вот условиях я произрастал... Хорошо хоть, что девушку себе нашел, которая музыкой занималась, повезло мне. К тому же она еще красивая была и веселая. Когда она улыбалась, ямочки на ее щеках тоже улыбались.

Моя девушка пользовалась успехом в своем районе, на своей улице. К ней пытались многие местные парни «при克莱иться», но она их всех в упор не видела. Ей прощали такое отношение, но когда у нее появился парень, тем более не с их улицы и района, это они пропустить не могли. Мне дали пару раз проводить ее спокойно, и, хотя я чувствовал за спиной их присутствие, меня не трогали. Я было подумал, что они смирились с моим присутствием. Но я ошибался, ко мне, видимо, присматривались. Присмотревшись и не найдя во мне никаких «достоинств», а лишь недостатки (чужак и еврей), меня решили проучить. Когда я третий раз проводил ее домой, на обратном пути, недалеко от ее дома ко мне подошел пацанчик лет 13–14 и попросил закурить. Я сразу понял, что будет дальше, и стал осматриваться в поисках позиции поудобней. Я решил не отвечать этому «курильщику», как будто я глухой, и этот мой маневр удался. «Малолетка» повторил свой вопрос несколько раз и, не получив ответа, стал растерянно оглядываться за угол дома, около которого он меня остановил. Через минуту оттуда появились поочередно четверо местных хлопцов. Далее все шло по известному сценарию: они возмущенно поинтересовались, почему я, такой жмот, жалею сигарету для малого, а я осматривал их и выбирал, кто из них поглавнее. Несмотря на то что я был боксером, я, чего скрывать, опасался их. Боксер боксером, но эти жлобы могли и чем-нибудь железным приложить по голове. Оглядывая их, я смотрел на их карманы, руки, штаны, куда можно было спрятать железный прут или цепь. Это был обычный арсенал такой шпаны. «Разговор» наш длился недолго, и я знал, что первую плоху, а хорошо бы и вторую, обязательно должен «кинуть» я. Я выбирал, кого. И выбрал. И боковым по скуле я это сделал. Одному, что поздоровее, потом, отскочив в сторону, еще одному, по носу, чтобы кровь. Первый упал, второй нет, но из драки вышел, потому что занимался остановкой крови.

Был бы я героем фильма, я бы еще и третьего, а может, и четвертого. Но у меня не было большого опыта уличных драк, и я, помню, даже пожалел тогда, что не ходил с Адиком драться на улице. В общем, мне кто-то из них врезал сзади, потому что я, дурак, проворонил удар. Мне попали по голове. Следующий удар я заметил, но не смог его избежать, потому что он был выполнен длинной, толстой палкой. Я только смог повернуться так, что защитил лицо и принял удар чуть ниже плеча. Было дико больно. Рука у меня была как парализованная, двигать ею я уже не мог. Осталась другая, левая. Они сразу заметили мою инвалидность и накинулись на меня.

Мне повезло, что те двое, которым я врезал первым, очень хотели меня избить и поэтому мешали друг другу. Они меня повалили, один из них лежал на мне и мешал бить другим. Они били меня и ногами, но попадали, к счастью, тоже по ногам.

Мне удалось вырваться из кучи, и я отбежал. Они не преследовали. Все время оглядываясь, я дошел до дома. Дома увидел, что они, сволочи, порвали мою любимую, «фирменную», как тогда говорили, рубашку.

Нет, я не был тряпичником, на мне не было не одной иностранной вещи, ну, если не считать какой-нибудь китайского производства рубашки и еще чего-то польского. Никаких джинсов у меня и в помине не было, как и не было всего, что было модно у тогдашних законодателей моды, стиляг. Рубашка же эта была мне очень дорога. Ее прислали папины друзья из Америки. Нежданно-негаданно пришла нам оттуда посылка.

Друзья юности отца по городу Одессе, с которыми он расстался, уехав за границу, а затем встретился с ними вновь в Румынии, эмигрировали после войны в Америку. Отец с матерью, волею судьбы оказавшиеся в Кишиневе, не вели с ними никакой, естественно, переписки. И вдруг пришло от них письмо, из Америки. Отец ответил, потом пришло еще одно, потом письма прекратились. Мы, дети, очень переживали по этому поводу и упрекали папиных друзей в небрежении своим другом. Но отец как-то сказал нам, это не они, а местное КГБ. «Они мне пишут, а в КГБ письма эти читают и рвут». Прошло около года, мы уже забыли об этом, как вдруг получили уведомление о прибытии посылки из Америки. Мы, дети, так обрадовались, но отец не радовался. И, как оказалось, не зря. На следующий же день почтальон принес другое уведомление: отца вызывали в КГБ. Он, конечно же, пошел, часа через два пришел и сказал, что его «попросили» написать письмо друзьям с просьбой больше не слать посылок, в которых мы совсем не нуждаемся, потому что мы не бедные и сами можем, — «они» просили употребить именно эту фразу, — сказал отец, «и сами можем слать вам посылки».

Видимо за письмо отцу разрешили получить эту посылку. Там было: пару отрезов на костюм, мужское пальто, пару свитеров и мужская белая рубашка. Женских вещей не было, словно эти папины друзья не подозревали, что папа в его возрасте женат. Папу это обидело, и он распорядился, чтобы все вещи были проданы, потому что он «не будет этого носить».

Несмотря на то что он назвал эту посылку «бедная мама — обосранные дети», и я был с ним согласен, я же и попросил не продавать белую рубашку, а дать ее мне. Она была мне впору, и она досталась мне. Красивая рубашка, у нас таких никогда в продаже не было, концы воротника пристегивались маленькими пуговицами. В польском «Экране» такие рубашки носили американские актеры. И вот она была у меня. Я любил эту рубашку, сам ее стирал и нечасто одевал. Когда одевал, всегда тщательно протирал шею ваткой, смоченной одеколоном. И вот теперь эти сволочи ее порвали. Зашить ее нельзя было, но я ее не выбросил, свернул и спрятал. На память, что у меня была настоящая американская рубашка.

Но я вам хочу сказать, что этих жлобов я не забыл. Да и не мог, потому что мне надо было провожать свою девушку еще не раз, и поэтому надо было утвердиться там «официально». В следующий только раз я взял с собой пару ребят из секции. Ребята мои шли незаметно сзади. Когда эти жлобы меня снова

остановили около ее дома, мои боксеры тут же подскочили, и понеслась душа в рай... Мы их славно отметелили, и они даже извинялись.

Девушка моя к тому времени уже училась в консерватории. Она много занималась музыкой, и нам редко удавалось видеться. Поэтому, когда я работал во вторую смену, утром я приходил к ней домой послушать ее игру. Мне нравилась фортепианская музыка, но еще больше нравилась она. Минут пять мне удавалось усидеть на месте, но больше я не выдерживал, подходил к ней и начинал ее целовать. А она, бедная, должна была продолжать играть, не фальшивя, великих Моцарта и Бетховена. В соседней комнате находилась ее бабушка, бывшая пианистка, которая когда-то давным-давно даже давала концерты в Вене. Несмотря на возраст, бабушка помнила на слух все, что играла внучка. И когда та все-таки фальшивила, бывшая солистка скрипучим голосом поправляла ее.

Внучка сидела, закусив губы и закрыв глаза, но не от игры на фортепиано... Щеки ее были красны и она продолжала играть в страхе, что бабушка сейчас возьмет и выйдет. Бабушка никогда не выходила, но страх у моей любимой не проходил. Мне кажется, это были одни из лучших моментов в нашей юношеской любви. Я, кстати, заметил, что когда бабушки не было с нами, в наших обоядных ласках, пожалуй, не было той силы страсти, которой сопутствовал риск.

Ее родители не очень меня хотели. Они считали, что их дочери я не ровня. Да, в общем-то, их можно было понять: дочь училась в консерватории, а я, закончив 10 классов, никуда не поступал, работал на заводе слесарем. Да еще боксер, что для еврейской семьи было как-то не очень прилично... Они хотели для дочери другого жениха, из зажиточной семьи, с проверенным будущим. Но их дочь хотела меня, и они ничего не могли с этим поделать. Пока. Мне как раз в это время исполнилось 17 лет, я выиграл очередной чемпионат республики и «прикидку» на Союз.

От республики нашей поехали пять человек. Первенство Союза проходило в славном городе Севастополе. В ту пору это был «закрытый» город, там стояли наши стратегические крейсера. В чемпионате участвовали боксеры от 16 до 18 лет. Я впервые был на такого рода соревнованиях, и то, что я там увидел, меня буквально ошарашило.

Мы пришли в «Морской клуб», где в местном парке тренировались участники чемпионата. Тренером с нами поехал не Таракан, а другой, недавно приехавший из Красноярска. Он когда-то был чемпионом «Динамо» и спартакиады. И его многие знали. Он показал рукой на боксеров в синих майках и сказал, что это динамовцы из Москвы. Я тоже был динамовцем.

В свои 17 я еще только начинал брить пушок, а тут я увидел небритых, свирепых мужиков. У меня аж дух свело! «Неужели им не больше 18 лет?» —

помню, подумал я. И еще подумал, как у таких выиграть? Да они тебя съедят на ринге!

И как будто назло жребий свел меня в первом бою с армянским боксером. Он был старше меня на год, выше почти на голову, и у него были настоящие усы. Худой, длинный, армянин выглядел лет на 19. Когда мы вышли на середину ринга пожать руки, публика засмеялась, такой он был высокий против меня...

Секундант мой весело сказал мне — ну и что, что длинный? Ты его по животу, по животу, он и сломается, он же скелетина!

Я и сам понимал, что только на ближней дистанции могу стоять против него. На мое счастье, он не очень умело использовал свои длинные руки. Я же все чаще подныривал под них и бил его по животу. Он старался не подпустить меня к себе и выбрасывал мне навстречу одиночные и «двойки». В первом раунде ему это удавалось, но в двух последующих я, поймав ритм его ударов, на какую-то секунду опережал его и неизменно оказывался под его руками. И тут уж я бил по его животу и старался побольнее. Других шансов выиграть у меня не было.

В третьем раунде я почувствовал, что «достал» его в ближнем бою, и что у него болят мышцы живота. Он начал злиться и стал попросту отталкивать меня своими руками. В конце концов судья дал ему предупреждение. Он сильно натер мне лицо, оно все горело, но я уже чувствовал вкус победы. Публика была на моей стороне. Мне кричали — «Молдавия», бей его по трусам! И кто еще добавлял — и ниже!

Бой закончился. Мой секундант потрепал меня по шее. Нас вызвали на середину ринга. Армянин стоял, слегка согнувшись, как будто пытался скрыть нашу разницу в росте. Судья поднял мою руку. Я был на седьмом небе.

Сказать по чести, я и не мечтал выиграть первенство Союза. У меня не было никакого шанса. Ни единого, это я понимал. И хотя я очень хотел стать чемпионом Союза, я понимал, что этот год — не мой. Но выиграть хоть один бой, этого я очень хотел. Тогда не стыдно будет посмотреть в глаза Таракану и остальным боксерам. И вот, я выиграл свой первый бой, и мне захотелось выиграть и второй. Ах, как заманчиво это было! Тогда бы я уже попадал в четвертьфинал и это выделило бы меня, и, может быть, меня бы и на сборы оставили...

Таким мечтам я предавался, и мои товарищи по команде, которые проиграли свои первые бои и вылетели, поддерживали во мне это желание. «Давай, Лазарь, сделай это, прославь Молдавию!» Мне было насрать на Молдавию, мне хотелось выиграть и доказать, что и еврей может выигрывать на Союзе.

Когда я в первый день смотрел список пар, я про себя заметил, что там, кроме моей, нет ни одной еврейской фамилии. Я подумал, один еврей на весь чемпионат Союза, это рекорд! Утром тренер не разбудил меня рано и дал мне поспать. Потом мы пошли на взвешивание, после чего я вместе с остальными членами команды немного потренировался. По моей просьбе мы тренировались не в большом парке, где тренировались остальные участники чемпионата, а около гостиницы, где тоже был небольшой парк. Мне было неприятно видеть небритые рожи маститых боксеров, они давили мне на психику. К концу тренировки пришел тренер и сообщил результат жеребьевки. Моим противником во втором бою был московский боксер Лев Эстрин. Когда тренер произнес его фамилию, стало тихо.

Лева Эстрин был очень известным боксером. Ему было 18 лет, он был прошлогодним чемпионом Союза, правда, в другом весе. На этот чемпионат он согнал вес и перешел в более легкую весовую категорию. В ту самую, в которой дрался я. Эстрин был фаворитом этого чемпионата. Он был хохмач, все время шутил, играл на гитаре, всюду, где он был, раздавался громкий смех. Боксером он был, как любили говорить некоторые журналисты, — от Бога. Очень техничный. Он входил в сборную страны. И вот мне выпало «счастье» драться с ним сегодня. В таких случаях у нас говорили — ну, не убьет, так покалечит.

Все ребята смотрели на меня. Ждали моей реакции. Я тоже молчал. Выручил тренер. «Да, противник у тебя не легкий, чемпион, очень техничный, титулованный, в общем, красивый боксер. Но! Во-первых, у него нет удара, а у тебя есть, во-вторых — с технадом драться намного легче, чем с корявым боксером. И пока бой не закончен, шанс всегда есть. Так что пойдем отдыхать и настраиваться».

Бои начинались в пять вечера, когда солнце уже не так пекло. Ринг был установлен недалеко от морского берега, на возвышении, под брезентовым навесом. Я дрался в 6-й паре. В гостинице мы пошли в комнату тренера и там говорили на разные темы. Я уже говорил, что это был не мой тренер, он не знал меня как боксера, но сам он когда-то был известным боксером и в боксе понимал. Он не стал много говорить о предстоящем бою, сказал — все решим после первого раунда. И еще он сказал: «Проиграть тебе этот бой не должно быть обидно. Сам знаешь, какой у тебя противник. Но проиграть позорно, будет стыдно. Его не надо бояться. Он сделан из такого же мяса, что и ты. К тому же ты тоже чего-то стоишь, хоть и не так знаменит. Но если ты выдашь все, что умеешь, поверь мне, ему нелегко будет одолеть тебя. Все остальное покажет ринг. Сам это знаешь. Поэтому не трухай, а постарайся подраться с ним. Именно, подраться».

У Эстрина была красивая форма. Синяя, настоящая динамовская майка, красные атласные трусы и красивые польские боксерки. И он, зараза, тоже был небрит. И это меня так разозлило, что я подумал, да ну, не убьет же он меня. И

мандража стало меньше. Когда мы стояли в середине ринга и слушали наставления судьи, Эстрин смотрел на меня и улыбался. Дружелюбно так и покровительственно, как старший молодому пацану. Потом мы пожали руки друг другу, и мне показалось, что он подмигнул мне. Это меня ничуть не испугало, а скорее разозлило. Когда же я вернулся в свой угол и мой секундант вложил мне в рот капу, я внезапно подумал, что Эстрин — это, может быть, и еврейская фамилия. С этим я и пошел навстречу своему противнику.

Но все-таки того мандража, что у меня осталось, хватило на то, чтобы в первом раунде на ринге полностью хозяинчал мой веселый противник. Ну, не в одни, конечно, ворота, но проходило у него многое. Я никак не мог к нему примениться, он как будто бы знал мою манеру боя и переигрывал меня. Единственно, что мне удалось, это провести пару сильных ударов по корпусу, и я увидел по его глазам, что он этого не ожидал и что ему это не нравится. Но он не зверел, не психовал, а красиво и технично — это был его конек — работал сериями. И набирал очки.

Тренер мой в перерыве меня тем не менее не ругал, а даже, наоборот, поддержал. Первый раунд, с таким боксером так провести, молодец и умница, сказал он. Не знаю, что бы сказал на его месте Таракан, может быть, свое всегдашнее «выброшу полотенце», но думаю, что все-таки в этом случае нет. А тут нежданно-негаданно меня похвалили, и это меня успокоило. А потом тренер сказал совсем неожиданное. Он сказал: «Сейчас выйдешь, первым не начинай, двигайся, "танцуй", что хочешь делай, но не начинай. Пусть он начнет атаку. Ты будь внимателен, постарайся уйти от его ударов и не отвечай. И если получится, и на вторую его атаку... тоже уди. И тут будь очень внимателен, и когда почувствуешь, что он хочет атаковать, резко, зло так, вруби ему кроссом, двойку и продолжи еще пару ударов. Если получится, а надо чтобы получилось, ты с него сразу собыешь уверенность, и это важно. А потом ты должен так драться, конечно, если получится, потому что он же не фраер в боксе, но и ты, не фраер... чтобы он понял, что ты разозлился и можешь ударить сильно. И весь раунд пусть он начинает, а ты отвечай, а еще лучше — опережай. Тогда он не будет "королем" на ринге. Давай, делай, ты можешь».

Уже потом, стоя в раздевалке под душем, я вспоминал до мелочей этот раунд и следующий. Прозвучал гонг, мы сошлились с ним в центре ринга, и я чуть было не выкинул левую руку для удара. Но вовремя удержался, вспомнив наставления тренера. Затем сделал пару обманных движений, как будто намерен атаковать, но не нанес ни одного удара. Так прошло несколько секунд. Противник мой не подозревал о моих планах и тоже, сделав обманное движение, нанес мне несколько ударов, от которых мне с большим трудом удалось отскочить. Мой тренер советовал мне проделать подобный маневр два раза, но я не стал рисковать, у «москвича» была хорошая реакция, и я, находясь на довольно близкой от него дистанции, боялся пропустить его удары. Тогда конец всему задуманному. И как только он, я это скорее почувствовал, чем уловил,

решил повторить атаку и выпустил левую, чтобы тут же добавить и правой, я ударил вразрез прямым правым, сразу же добавил левым боковым и завершил снова правой в открывшееся пространство его лица.

Так бить должен был он, а не я, такая досада отразилась на его лице, куда я нанес два чистых удара. И дело было вовсе не в этих ударах — мало ли ударов пропускаешь за три раунда — а в том, что я обманул его. И теперь мне нужно было быть вдвойне внимательным, потому что он наверняка захочет ответить мне тем же. А пока что я следовал указаниям тренера, не атаковал. И ждал, когда начнет он.

Но Эстрин не был бы Эстриным, если бы снова «купился» на мои «примочки». Не знаю, разгадал ли он мои «хитрости» или просто решил чуть сменить манеру боя. Он был талантливым боксером, у него было намного больше боев, чем у меня, наконец, у него был чемпионский титул и опыт международных соревнований. Кроме того, он был намного увереннее меня и доказывал это. Вести бой на середине ринга не устраивало его, и он начал давить на меня. Физически он был мощнее меня, технически еще более, поэтому ему не составило труда потеснить меня в угол и там, сделав пару обманных движений, войти в ближний, чтобы провести сокрушающую серию ударов.

Сокрушающую, так он хотел, но я, хоть и оказался против желания в углу, понимал его действия и знал, что нельзя позволять ему исполнить задуманное. Если я пропущу его удары один раз, пропущу и более, таков необъяснимый закон бокса. И когда он вошел в ближний и начал серию с левого апперкота, я, еще не зная, куда буду бить, уже отвечал ему такими же апперкотами.

Он, конечно же, был хладнокровнее меня, а потому и точнее. Как только он понял — в доли секунды такие вещи понимаются — что у него не получается задуманное, он отпрыгнул на пол шага назад и...

И конечно же, обманулся я. Он не собирался отступать, он тут же прямыми ударами вернул себе проигранные два очка и еще двумя боковыми восстановил свое преимущество и уверенность в правильно выбранном ходе. А я хорошо что успел выскочить из угла, чтобы не получить еще больше, и услышал негромкие, подбадривающие слова тренера — не горячись, все нормально.

Ну, в общем-то, ничего страшного не происходило. Кроме того, что Эстрин все-таки переигрывал меня во втором и третьем раундах.

В боксе иногда бывает так, что когда закончились все три раунда и ты чувствуешь, что бой был не твой, все равно мысль о проигрыше перекрывается надеждой, а вдруг... А вдруг, ну, может же быть такое чудо... я же неплохо дрался... вдруг боковые судьи... и рефери в ринге поднимет мою руку. Такая мысль, недолго, но мелькала в моей голове. И прошла. Нас вызвали на середину ринга, главный судья объявил фамилию победителя, рефери поднял его руку,

Эстрин дружелюбно пожал мне руки и похлопал меня по плечу. Он прошел в полуфинал.

Так и должно было быть, никаких шансов у меня не было. Но оттого, что проиграл я бой не с явным преимуществом, как ожидалось, а дрался не так уж и плохо и весь выложился, мне было обидно, что Эстрин не пустил меня в полуфинал. Тренер, как будто чувствуя, что творится в моей душе, меня даже полуобнял и сказал: «В следующем году, если так будешь драться...» Я понял, что он недосказал, но сейчас это не утешало.

Как был в форме, только боксерки снял, стал я под душ. Лицом отвернулся к стене, чтобы не видел кто моего лица, и... Вода текла, я постепенно остывал и смирялся.

Следующий день был днем отдыха. Моряки боевого крейсера пригласили боксеров к себе на корабль. Неподалеку от «Морского клуба», где проходил чемпионат, находилась спортбаза, где тренировалась взрослая сборная Союза по боксу. И в этот день человек пять из сборной тоже поехали на корабль. Я впервые в жизни увидел своего кумира — Бориса Лагутина, который в прошлом году, на последней Олимпиаде, стал чемпионом. Для меня находиться рядом с ним было тогда, как в анекдоте, для курсанта школы КГБ — пострелять из револьвера «Железного Феликса». На корабле был и Лева Эстрин, его знали все «сборники», он, как всегда, удачно хохмил, и все смеялись. Он меня удивил: увидев меня, подошел, поздоровался, как будто мы с ним давно знакомы, и сказал: «У нас с тобой был настоящий еврейский бокс. Ты Дранкер, я Эстрин... Ты, молодец, хорошо дрался. Тебе надо отваливать из Молдавии, если хочешь быть хорошим боксером. Переезжай в Москву и приходи к нам».

Не знаю, что на него нашло, но он проявил ко мне неожиданную для меня доброту — познакомил меня со своим тренером. Знаменитый Рафалович, воспитавший многих именитых боксеров, тоже сказал, что мне лучше заниматься в Москве. Он назвал адрес их спортзала и, пожав мне руку, сказал: «Приедешь — приходи». Но на этом мое счастье не кончилось. Словно в компенсацию за мой проигрыш, когда мы, осмотрев корабль, были приглашены на обед в матросский камбуз, мне удалось заговорить с Лагутиным. Я спросил его, что, на его взгляд, нужно делать, чтобы стать чемпионом Союза?

Лагутин, помню, расспросил меня, кто я и откуда, и затем сам спросил о том, зачем мне бокс. Сейчас уже не помню в точности, что я ему ответил, но помню, что я много чего нагородил. Лагутин, выслушав меня, сказал, что я очень сложно мыслю, и что в боксе не нужно быть умным и образованным. Я возразил ему, сказав, что он сам учится в университете и не производит впечатления дурака. Лагутин улыбнулся и сказал, что он — белая ворона в сборной, и что хорошие боксеры в основном люди примитивные. Он еще сказал такие, я их запомнил, слова: «Чтобы бить, не нужно много думать».

Я тогда не понял Лагутина. Я тогда очень хотел быть хорошим боксером и ни в коем случае — примитивным человеком. Будучи уже свободным от соревнований, я смотрел все бои, всматривался в боксеров, особенно в хороших, и искал в них следы... примитивности. Нет, Лагутин был не прав, не все выглядели примитивными, не все...

Финальные бои начались в одиннадцать утра. Первые пары я пропустил, потому что смотрел, как разминается Лева Эстрин. Его тренер разрешил мне постоять рядом, когда он держал его на лапах и когда настраивал на бой. У Эстрина был «тяжелый» противник, чемпион Украины, тоже именитый боксер. Не могу сказать, что мы стали друзьями с ним, но когда он, завернутый в спортивный халат, чтобы не застудить мышцы, прыгал с ноги на ногу перед выходом на ринг, он подмигнул мне и сказал: «Поболеешь за своего, да?» Конечно же, я понял, что он хотел сказать, но от нахлынувших чувств смог только кивнуть головой.

Я хотел его победы, пожалуй, намного больше, чем для себя самого в том бою с ним. Обычно я никогда не подбадривал криком боксера, за которого «болел», считая это неприличным. Но после первого раунда, когда бой у него не складывался, мне очень хотелось крикнуть Леве что-нибудь, что поможет ему.

Во втором раунде он, как говорится, «попал в струю», а в третьем уже так уверенно «долбил» противника, что не было сомнений в его победе. Несмотря на то что украинский боксер был здесь, как у себя дома, местная публика с симпатией аплодировала Эстрину, когда судья поднял его руку и назвал его дважды чемпионом Союза. Когда победитель сошел с ринга, его друзья бросились за ним в раздевалку, чтобы поздравить его. Мне тоже хотелось его поздравить, но я, конечно же, не пошел за ним. Кто я и кто он...

Не знаю, кого мне нужно было больше благодарить, когда совсем неожиданно для себя я узнал, что меня оставляют на тренировочные сборы. После окончания соревнований тренера пригласили на совещание представителей команд. А мы остались в гостинице собирать вещи, утром мы уезжали домой. Часа через два он вернулся и позвал нас в свою комнату. Спросил, готовы ли мы, и затем буднично так сказал, чтобы я распаковал свою сумку. И через небольшую паузу сказал: «Тренерский совет решил оставить тебя на месячные сборы, так что ты остаешься».

Когда мы остались одни в комнате, я все-таки решился и спросил его, почему меня оставили на сборах. Тренер сказал, что, когда обсуждали кандидатуры тех, кто останется, Рафалович сказал, что, на его взгляд, один боксер из Молдавии, фамилии он не помнит, дрался очень хорошо, и его надо поощрить. Обычно на сборы оставляют тех, кто занял первые-вторые места, но тут решили сделать «исключение для Молдавии», тем более что никто не возражал. Потом тренер давал мне наставления, как себя вести на сборах.

Утром я проводил своих, потом сел в автобус, который увозил «сборников» в другую гостиницу. Я искал в автобусе Рафаловича и Эстрина, но их не было. И только потом, когда я выходил из гостиницы, направляясь на переговорный пункт, я встретил Рафаловича. Он сделал удивленный вид, увидев меня, потом спросил, какими судьбами я тут оказался, и когда я, совершенно сбитый с толку его «забывчивостью», сказал, что меня оставили на сборы и что я... Он перебил меня, сказав, что, да-да, что-то такое он помнит. «Ну, замечательно, значит, будешь тренироваться в моей группе. Я скажу Левке, чтобы он тебе рассказал, что к чему». И Рафалович, потрепав меня по голове, как дедушка (ему наверняка было около шестидесяти), простился со мной.

На переговорный пункт я летел как на крыльях. Встреча с Рафаловичем ободрила меня. Мне предстоял нелегкий разговор с родителями: я не знал, как сказать им о сборах. То есть знал, конечно, что я скажу, но уверен был, что никакой радости им эти сборы не принесут. И еще один разговор — с моей девушкой — тоже нелегкий предстоял.

У нас дома телефона не было, он был у соседей. Дома была мама. Она сразу же спросила, когда я приеду, они с папой соскучились. Мне тем более было трудно сказать ей все, что я должен был сказать, но я сказал. Мама от волнения перешла на идиш и спросила: «Вэйгин вус дафсты блайбн аф дэ сборыс, зуг мир, вэйгин вус?»

Я отвечал ей на русском, не мог же я кричать на весь севастопольский телефонный пункт на идиш, «вэйгин вус» (для чего) я остаюсь на сборах. Мама не понимала, была очень недовольна, сказала, что папа тоже будет «очень не рад этому», и чтобы я звонил им, ну, хотя бы через день. Я сказал, что вряд ли, потому что и денег у меня таких нет, и не отпустят меня звонить через день. Еще я сказал маме, чтобы она не волновалась, что здесь прекрасные условия, кормят как на убой, и главное, это я уже сказал тихо — тренер тут еврей. Последние слова мама не услышала, связь была плохая, и я не мог громко повторить и сказал, что, ну, ладно мама, и что я целую ее.

После этого разговора говорить с моей девушкой мне было еще труднее. И я оказался прав. На мое счастье она была дома и сама взяла трубку. Она была очень взволнована, а когда я сообщил ей, что остаюсь здесь на месяц, она громко, с ужасом в голосе, повторила, НА МЕСЯЦ?!

В ее голосе было все, и были слезы. Все удовольствие от разговора с Рафаловичем они с мамой мне убили. У меня кончалось время и денег оставалось только на троллейбус. Вообще денег у меня было немного: когда ребята уезжали, они и тренер скинулись и оставили мне почти все, что у них было, а было у них немного. Поэтому мне пришлось сказать своей девушке, что я позвоню ей еще через пару дней, что сейчас у меня нет денег, чтобы продлить разговор. Время наше истекло, я повесил трубку.

На душе было — хуже некуда. Я ничего не успел ей сказать, ни что я ее люблю, что скучаю, что мне очень важны эти сборы и что... «тренер тут еврей». И еще я вспомнил, что она несколько раз повторила, что мне сейчас обязательно нужно быть рядом с ней, обязательно. «Почему именно сейчас, — думал я, — может, она беременна? Да нет, не может быть, но почему же?!».

Позже я узнал, что родители ее в мое отсутствие очень ополчились против меня, потребовали, чтобы она прекратила наши отношения, и, главное, чтобы начала встречаться с одним саксофонистом, который был из зажиточного дома и давно и безуспешно ухаживал за ней. Но все это я узнал позже, а сейчас я возвращался на троллейбусе в гостиницу и думал о встрече с Левой Эстриным и о том, как пройдет первая тренировка. Я был молод, крепок, и я хотел стать чемпионом Союза...

Если бы я знал, каково мне придется на этих сборах, не уверен, что с такой радостью захотел бы остаться. Здесь был «другой» бокс, совсем не такой, каким занимался я, в общем-то, не новичок, и двукратный чемпион своей республики. Здесь, на самых заурядных тренировках, в спаррингах дрались жестко и безжалостно, здесь буквально «отрывали» голову. Поначалу я не мог примениться к такому способу ведения боя, мне было тяжело, я сильно уставал, огорчался из-за этого и был близок к тому, чтобы бросить все и уехать. К этому примешивалось и мое одиночество. Лева Эстрин был, пожалуй, единственным человеком, с которым я общался, все же остальные «сборники» были для меня чужими и нежеланными. Вот когда я убедился в правоте слов, сказанных мне Лагутиным тогда на крейсере. «Хорошие боксеры — люди примитивные. Чтобы бить — не надо много думать». Тут так и поступали — Лагутин хорошо знал свое окружение. И неважно, что я находился в юношеском обществе, по-моему, они были еще злее. Тут был костяк сборной Союза, один другого лучше, и мне было никак не примениться к ним. Как боксеры, все они были на голову выше меня по мастерству, и я очень старался «догнать» их. И в то же время почти все они — говорю «почти», чтобы, может быть, кого-нибудь не обидеть, — были очень примитивными. Их жлобские шутки, интересы, поведение, реакция на окружающее, особенно на женщин — все меня отвращало от них.

Вначале я искал помощи, сочувствия у Рафаловича, но был разочарован. Он после нескольких тренировок достаточно сурово сказал мне, чтобы я не рассчитывал на скидки, потому что я из провинции. «Чем лучше Ташкент вашего Кишинева, и чем узбек талантливее тебя? Если ты будешь рассчитывать на скидки, тебя попросту забьют на ринге, как кролика».

Он был прав, но мне на первых порах было трудно и больно. У «них», по-моему, не было понятия, что на тренировках, во время отработки комбинаций можно драться в пол силы. Били, как будто это был прикидочный спарринг, так били, что уши чуть не отлетали...

Чтобы избавить меня от иллюзий, Рафалович на третьей, кажется, тренировке сказал, что если я буду «деликатничать», мне тут делать нечего и он меня отправит домой.

«Здесь, мой мальчик, идет жесткая борьба. Ты уже, надеюсь, увидел и понял, что здесь надо бить, если не хочешь, чтобы тебе голову оторвали. Твои спарринг-партнеры, будущие твои противники, и тренеры их должны увидеть, что ты боксер злой, всегда настроен на выигрыш, и тебя нужно бояться. Поговору тут делать нечего. Или-или. Подумай, и, если не можешь, скажи мне. Ничего страшного, у себя дома будешь первым».

В этой его последней фразе, в ней, конечно же, была явная насмешка — быть «королем» в провинции... «на безрыбье и рак...» и т. д. Она-то меня и заставила сжаться от злости и измениться.

А домой мне, кстати, очень хотелось, я скучал по родителям и очень скучал по своей девушке. Когда я во второй раз разговаривал с ней, она, как только услышала мой голос, назвала мое имя и сразу заплакала. У меня сердце сжалось, я сам чуть не заплакал, но удержался и начал ее утешать. А она всхлипывала и всхлипывала, и разговора не получилось. Напоследок вдруг сказал, что постараюсь пораньше уехать отсюда. Потом по дороге домой укорял себя — зачем пообещал?

Я, конечно же, не уехал раньше домой. Я остался, и стал драться как все — зло и жестоко, не щадя и не уступая равному и не сдаваясь сильному противнику. И Рафалович это заметил. Он сказал не прямо, но я понял его. Он сказал: «Ты, брат, возмужал, смотри, тебе побриться надо. А то щетина лезет, и противники тебя стали побаиваться».

Да, у меня вдруг стали расти волосы на лице, и я не спешил бриться. Я похудел, щеки немного ввалились, брови сдвинулись. Я редко улыбался и не так уже реагировал на окружающих.

Улыбнулся я, когда пришел день отъезда, улыбнулся чудному человеку Рафаловичу. Я на него злился вначале, но только благодаря ему я удержался там.

Он, как мне показалось, меня раскусил. На последней тренировке он спросил меня — уверен ли я, он сказал «мой друг», что мне нужен бокс? «Мне кажется, ты уже доказал себе в этом плане все нужное. Может быть, у тебя другая дорога? Бокс — это не самая лучшая карьера. Помогает, конечно, при поступлении в институт, особенно если ты еврей...» Еще он повторил, что если я захочу приехать в Москву, то в его зале мне найдется место.

С Левой Эстриным мы не стали близкими друзьями, но я не жалел. Он дал мне свой телефон и весело сказал — звони, заходи...

Меня никто не встречал на аэродроме. Родителям я не сказал день прилета и никому не сказал. Почему-то захотелось поехать домой на такси, не хотелось толкаться в толпе. Но денег хватало только на автобус.

«Ой, на кого ты похож, как ты изменился!» Так сказала мама, когда я вошел в дом, и так она продолжала говорить почти целый день. Отец согласился с ней, объяснив это тем, что я повзрослел, и они этого не заметили. Вечером мама приготовила праздничный ужин, и потом мы пили чай с «Наполеоном». Я скрупульно рассказывал им про сборы, про Рафаловича, про то, что он пригласил меня в Москву. «Только Москвы нам не хватало», — сказала мама. Отец не преминул меня спросить, не решил ли я оставить занятия боксом. Мой ответ его удивил — я сказал, что может быть, но еще не сейчас.

А с милой моей девушкой встреча была тяжелой. Мы встретились в парке, она плакала, потом смеялась, потом снова плакала... Мне было жалко ее. На нее давили родители, уговаривали, чтобы она рассталась со мной. Я на них так разозлился, что не выдержал и сказал ей, чтобы она послала их подальше. Она сказала, что они ее родители и что я говорю глупости. Тогда я сказал, что тогда пусть послушает их. Она посмотрела на меня укоризненно и так беззащитно, что у меня сжалось сердце, как тогда, в Севастополе. Они, рассказывала она мне, говорили ей, что я ненадежен, не учусь, и что я никогда не женюсь на ней. Она говорила, а я думал про себя, думал — какого черта, что им надо? Еще когда она мне по телефону рассказала, что родители ее давят на нее, чтобы она рассталась со мной, я сильно разозлился. Я думал — и все потому, что я не учусь? Но я знал, что причина не в этом, а в том, что они чувствовали во мне чужого и догадывались, что я их не люблю. Я их и не любил, потому что считал законченными мещанами. У них хоть и было высшее образование и книжные полки были заставлены последними новинками книг — мать работала заведующей аптекой и могла «достать» все что угодно, но мещанами они и были. Что с того, рассуждал я, что у них есть все последние издания? Они наверняка не открывали ни Хемингуэя, ни Платонова, это же видно по их рассуждениям. Отец ее был архитектором, но послушали бы вы, что он говорил про конструктивизм... такой же мещанин, как и его жена. Да что там говорить, я жил в окружении мещан, и именно поэтому я, еврей, ненавидел этих... евреев, что окружали меня. Их интересовало только обогатиться, «достать» модную тогда полированную мебель, повыгоднее выдать замуж дочь или женить сына — и жизнь прожита не зря!

Так я рассуждал тогда и в то же время сознавал, что мои родители тоже были мещане, просто они были моими родителями... Что было делать? Выход был один — уехать оттуда, уехать из этого города в другой. Я уже знал в какой.

Но когда я слушал ее рассказ, мне было очень грустно оттого, что я ничем не мог ей помочь. Потому что я уже знал, что, может быть, скоро уеду отсюда, не женюсь на ней, и поэтому я, конечно же, ненадежен.

На тренировке меня встретили хорошо. Таракан сразу же поставил меня в спарринг с «мужиком», все стояли у канатов и смотрели бой. Месяц, проведенный на сборах, сделал свое: я дрался на равных с тем, кто меня раньше делал как цуцика. Да, я научился «отрывать» голову, и все это заметили. После тренировки Таракан сказал, что через месяц чемпионат «ЦС Динамо», и что я поеду. Еще он сказал со своим одесским акцентом «шо если так и дальше... то можно и хорошо выступить».

Раньше я только мечтал об этом, но теперь меня это не очень радовало. Вообще я стал замечать за собой некоторое охлаждение к боксу. Не тянуло меня на тренировки, как бывало раньше, и я ходил на них уже без радостного прежнего желания.

Причина, конечно же, была. Я увлекся актерством. Эта «пагубная» любовь так сильно овладела мной, что я только об этом и думал. Все мои тщеславные желания сделать карьеру боксера отошли на второй план. Я хотел одного: поехать в Москву поступать в театральный институт. И в то же время я знал, что эта идея не понравится моим родителям и особенно моей девушке. Но уже ничего не мог с собой поделать и уступать не мог. Кажется, в моей жизни наступали настоящие трудности...